Евгений Дубовцев

Гром и Молния

Цена 65 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

Гром и Молния

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ

Издательство «Детская литература»
Москва 1971

Р 2
В 75

Может ли кто-нибудь сдружиться сильнее, чем однополчане, фронтовые побратимы, которым довелось делиться патронами в бою, ходить в разведку по одному компасу, есть из одного котелка, прикрывать своим телом товарища в минуту смертельной опасности, лежать под огнем в одной воронке, тесно прижавшись друг к другу?

Говорят, человека по-настоящему узнаешь после того, как съешь с ним пуд соли. А на войне бывает достаточно и щепотки. Нигде люди не сходятся так быстро, не узнают друг друга так хорошо, как на войне. Нигде дружба не бывает столь требовательной, бескорыстной, надежной.

Сборник рассказов «Гром и Молния» населяют люди смелые и умелые, смекалистые и находчивые, всегда верные святым законам фронтового товарищества и взаимовыручки. Эти благородные традиции вошли в плоть и кровь всех, кто вернулся после войны к мирному труду и кто чувствует себя наследником славы Советской Армии.

Евгений Воробьев не наблюдал своих героев издалека, он прожил с ними четыре фронтовых года.

РИСУНКИ О. ВЕРЕЙСКОГО

7—6—3

НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ

Все трое упали плашмя на снег и не двигались; тени плотно прильнули к ним. Рядом с Прибыловым уткнулся в снег связанный немец, а с другого боку залег Анчутин. Все оставались недвижимы, пока ракета не отжила свою скоротечную жизнь.

Прибылов волок немца вдвоем с Анчутиным, а остальные поотстали. Он дал им задание — вывести из строя пулемет в траншее. Позже Прибылов забеспокоился: «Может, ребята не имели дела с немецким пулеметом «МГ-34», не знают, где у него концы? Нужно разобрать его ко всем чертям, выдрать из него спусковой рычаг, что ли... А может, ребята скружали, отползают стороной, потеряли из виду «языка»?»

Пора бы уже и смениться ему с Анчутиным. Дыхания совсем не осталось, а правая рука, которой приходится загребать снег, того и гляди, заледенеет... Фриц вроде и невидный из себя, можно даже сказать мелкокалиберный, а увесистый. Он стал тяжелее, чем в начале пути.

Пожалуй, Прибылов напрасно отказал новенькому — круглоголовому, коротко остриженному парню с массивными плечами, когда тот просился к нему в группу захвата, напрасно отдал его в группу обеспечения...

Прибылов с удивительной отчетливостью вспомнил весь свой не очень дружелюбный разговор с новеньким, когда тот обратился к нему со своей просьбой. «Ты хоть одного фашиста убил?» — спросил Прибылов строго. «Нет».— «А в глаза фашиста видел?» — «Нет».— «В тыл к ним заглядывал?» — «Нет».— «Ну хоть по ничейной земле гулял когда-нибудь?» — «Нет».— «Какой же из тебя разведчик? — высокомерно спросил он у новенького.— Ни рыба, ни мясо, ни с чем пирог. А если у тебя душа струсит? Еще начнешь в разведке зубами стучать на всю окружность».

В землянке засмеялись. Новенький отсел подальше от плошки в тень и замолк, обиженный.

Но сейчас Прибылов подумал: «Зачем бы парень стал проситься в группу захвата, если он робкого десятка? Да еще так настойчиво просился!»

Конечно, этот новенький — парень чересчур зеленый. Когда его прислали с пополнением во взвод разведки, он даже по-пластунски ползать не умел как следует: то становился на карачки, то елозил на четвереньках. «Голову спрятал наподобие страуса, а вся казенная часть торчит наружу»,— заметил тогда Прибылов, вызвав общий смех.

А уже в начале зимы новенький ползал, как опытный разведчик, и не отрывал от снега локтей, колен и подбородка, что называется «пахал лбом землю». И ведь что вымудрил! Выпросил у ездовых соседней батареи мешок овса и таскал этот четырехпудовый мешок по снегу. Он хватался за ушки мешка или за завязку и волок мешок за собой с мученическим усердием. «Овес-то нонче почем»? — спросил тогда Прибылов, стоя над взмыленным новичком. Тот молча вытер пот, заливающий глаза, но не нашелся что ответить. Да и не слышал новенький этого выражения, оставленного вымершим племенем извозчиков в наследство горожанам. Разведчики посмеялись и отпустили несколько шуток по адресу новенького. Кто-то упомянул про поросенка в мешке, кто-то предостерег новенького, чтобы его невзначай самого мешком не прихлопнуло. А Прибылов был доволен: он любил, когда вокруг него собирались почтительные внимательные, когда его шутки вызывали веселый отклик.

А все-таки умение — дело наживное, тем более при

такой старательности, как у этого таежного силача, он сможет быстро окорениться в разведке. Силенкой этого Безымянных, или Беспрозванных, или Бесфамильных господь бог не обидел, здоровье у него, как он сам хвалился, на хвое настоянное, диким медом приправленное. И плечи могучие, и ручищи — как малые саперные лопаты. Может, он и в самом деле не фантазирует, что перенес миномет, не разбирая?

Прибылов окончательно поверил новенькому, когда увидел, как тот однажды взял и на глазах у всех вытянутой рукой поднял за конец штыка винтовку, положенную на пол землянки. Такого увальня если рассердить, он и пушку-прямушку перенесет в одиночку. Почему же Прибылов все-таки отказался взять новенького под свое начало? Потому что, когда зашла речь о группе захвата, на лице новенького загорелся какой-то нездоровый румянец и Прибылов расценил это как примету страха. А сейчас он подумал, что признаки возбуждения во многом схожи с признаками страха. Горячий азарт, волнение новенького, когда он просился в группу захвата, послужило ему ошибочной аттестацией.

Однако дался ему этот крепыш-несмышленыш, который и во взводе-то у них без году неделю и который неизвестно еще, умеет ли что-нибудь, кроме как поднять да бросить.

И почему Прибылов никак не может мысленно отъединиться от этого парня? Да потому, что Прибылов чувствовал, хотя и неохотно признавался себе в этом,— он был несправедлив к новенькому. Ох как этот прилежный силач выручил бы его с Анчутиным, окажись сейчас рядом с ними, вот на этом заснеженном пустыре, который называется ничейной землей или «нейтралкой»...

Нарастающий гул боя сделал шорохи и голоса беззвучными, безопасными. И как только Прибылов сделал в поле первую остановку, чтобы отдышаться, он принялся веселым шепотом рассказывать Анчутину, кивая при этом на пленного:

— Я ему сую кляп в зубы, а он нос воротит, брезгует. А чего, спрашивается, брезговать-то? — Здесь Прибылов повернулся к немцу, который недвижно лежал рядом, и с укором посмотрел на него: — Что я тебе — грязную портянку в рот сунул? Я на тебя свой индивидуальный па-

кет потратил. Вата с гарантией, кипяченая. И бинт, чтобы ты вату не выплюнул, из того же пакета. Полная гигиена!..

Прибылов первый поднялся на колени. Он собрался тащить «языка» дальше, но услышал мину на излете и прикрыл «языка» своим телом. Да, случаются в разведчицкой практике несообразности, когда жизнью врага дорожишь больше, чем собственной.

В нос шибанул запах чужого табаку, чужого пота и прокисшего шинельного сукна.

Прибылов услышал разрыв мины, вдохнул ядовитую гарь, и тут же его так свирепо ударили по ноге, что в глазах потемнело и почудилось — нога оторвана напрочь. Он судорожно ощупал бедро — на месте; ощупал колено — на месте; провел рукой по голени — кажется, тоже при нем. Но ощутил теплую влагу на руке — кровь.

— Ходовая часть у меня того...— Прибылов скрипнул зубами.— Тащи фрица один. Как бы его тут не окрестили...

— Не покину я тебя.

— Разговорчики! Сам перевяжусь. Доползу. Вот только соберусь с силами. А ты не балуйся со временем. Марш!

— Все одно не покину. Да как я опосля всем в глаза...— Анчутин не договорил: новая мина шмякнулась в снег.

На взгорке снег неглубокий, земля промерзла до звона. Прибылов ничего не видел, но твердо знал, что свежая воронка — мелкая, а разлет осколков большой.

— Ну, Анчутин... Если тут фрица накроет... Отползай!

— Да как я тебя, беспомощного, оставлю без помощи?

— А ты помоги. Отстегни мою флягу. Хлебнуть для согрева...

При свете опадающей, уже изошедшей последними искрами ракеты Анчутин подполз к Прибылову, снял с его пояса флягу, потряс — даже не булькнуло. Он огладил войлочный футляр на кнопках: войлок мокрый, подозрительно разит спиртом.

— Прохудилась твоя фляга. Тут вмятина, тут дырка. Вытекла до капли.

Прибылов стал ругаться самыми черными словами. какие только знал. Снова досталось Гитлеру: возьми его совсем и чума, и холера, и насморк, и чесотка, и лихоманка, и другое лихо. Можно было подумать, Прибылов меньше опечален ранением, нежели тем, что осколок пробил флягу и оставил его без горючего.

Прибылов сказал глухо, превозмогая одышку:

— Впрягайся быстрее. И чтобы духу немецкого возле меня не было!

— Товарищ старший сержант!..

Прибылов, проклиная Гитлера, его маму и повивальную бабку, повернулся на бок. Он сделал вид, что хочет вытащить из-за пазухи пистолет, и зло сказал сквозь зубы:

— Выполняй приказ! Или пристрелю на месте... А пока ты жив, оставь «индик». Я свой на фрица истратил...

Анчутин вложил индивидуальный пакет Прибылову в руку.

— Мне бы только сбыть с рук эту обузу,— Анчутин кивнул на «языка»,— сразу в обрат подамся.

— Может, меня Лавриненко с Крижевским подберут.

— Разве они углядят в темноте?

— Здесь, на взгорке, меня не ищи. Двинусь навстречу. На полдороге свидимся. Вот малость полежу и двинусь. Как наш капитан говорит,— Прибылов горько усмехнулся,— это у меня оперативная пауза получилась...

Он слышал, как по соседству натужно сопел или мычал, а может быть, стонал или плакал пленный с кляпом во рту.

«Ну что же Анчутин волынит?»

Тот все еще молча лежал рядом — то ли не решался оставить Прибылова одного, то ли пережидал, когда отгорит ракета, то ли мысленно примеривался к трудной ноше, которую ему предстояло дальше тащить одному.

— Лежишь тут в одном ватнике, мерзнешь... А он разлегся себе в двух шинелях, ему в зад не дует.— Анчутин приподнялся, взял лежащего немца за шиворот и строго ему приказал: — Ты, фашистская тварь, тоже руками-ногами перебирай! Покедова жив. Я тебя один тащить не нанимался. А ну, ком шнель отселева!

Пленный немец, услышав команду, застонал-замычал в знак согласия, засуетился, задвигался. После того как рядом с ним ранило русского, он спешил отползти от этого гиблого места подальше...

Все стихло, в том смысле, что не стало слышно ничьих голосов, а только гремел недальний бой. Прибылов увидел ракету, но свет ее показался тусклым-тусклым.

«Зачем фрицы жгут такие никудышные ракеты? — удивился он.— Плошка в землянке и та ярче».

Чем сильнее Прибылов коченел, тем его воображение все более упорно возвращалось к их землянке, к печке. Сапер Евстигнеев соорудил эту печку из бака для горючего, который снял с какого-то начисто «раскулаченного» трактора.

Нет, прежде не ценил Прибылов по-настоящему этого счастья — сидеть у печки, пышущей зноем. Достаточно прикоснуться цигаркой к железу — и можно прикуривать. Видно, как жадно втягивается махорочный дым в поддувало. Труба даже слегка поскрипывает от раскаленного воздуха. Так больно и сладко касаться трубы окоченевшими пальцами и быстро отдергивать руку.

Прибылов уже не мог понять, становится ли ему теплее, когда он воображает себе печку, или, наоборот, от такой фантазии еще морознее. Возникло ощущение, что он постепенно леденеет. Из тела уходит самое последнее тепло, та малая толика, которую он прятал за пазухой, как свой самый заветный, неприкосновенный запас: это тепло он нес еще от землянки.

Можно бы погреться и у полевой кухни, тем более что метель угомонилась и в овраге тихо. У кухни иной раз даже лучше согреешься, чем в землянке.

Неплохо было бы посидеть сегодня и в Пустошкинской церкви, приспособленной под клуб. Там, правда, не топят, но когда бойцы надышат и накурят, уже не замерзнешь.

Однако весь холодок, какой есть в округе, собрался. Как бы тут нос не отморозить в придачу к ноге.

Евстигнеев прав, что подобрал себе самые большие валенки во взводе. Конечно, особой скороходности от Евстигнеева в такой обувке ждать не приходится, зато никакой холод не прошибет три портянки...

Прибылову вспомнилось, как они лежали рядком с

Евстигнеевым на исходной позиции, перед косогором. Евстигнеев, по обыкновению, тащил с собой охапку хвойных веток. А этот новенький, которого недавно прислали во взвод разведчиков, как там его кличут, полюбопытничал: зачем Евстигнеев тащит с собой хвою? Прибылов серьезно так объяснил новенькому: «Следы свои заметать. Чтобы за нами не пустили в погоню немецких овчарок». Поверил новенький этой байке или не поверил? Все посмеялись втихомолку. Не знает, что хвойными ветками обозначают стежку-дорожку в минном поле. Заблудишься, оступишь с нее — сразу на смерть свою наступишь...

Вчера Прибылов вернулся в землянку только под утро. А новенький проснулся и почтительно спросил: «Снова были на ничейной земле?» — «Прогулялся малость»,— небрежно ответил он. «Один?» — «Зачем один? Вдвоем».— «С кем же, товарищ старший сержант?» Новенький успел кому-то позавидовать. «А с дедом-морозом».— «Что, замерзли, товарищ старший сержант?» — «Если бы замерз — лежал бы, а я вот, видишь, сижу на топчане, раздеваюсь, на твои вопросы отвечаю...»

Вокруг снова засмеялись, а новенький лег на хвойную лежанку и отвернулся к бревенчатой стене.

Ну что же, может, новенький еще и научится фронтовому уму-разуму, если его только раньше времени не приласкает пуля или не пригреет осколок, вот как меня, несчастливого...

Он смутно помнил: ему необходимо что-то сделать, срочно сделать для своего спасения, но вот что именно, никак вспомнить не мог. Это пряталось где-то в самых тайниках, закоулках, складках, залежах памяти, и как только он вспомнил это, порывался сделать то, что сделать было необходимо, оно вновь пряталось, ускользало из сознания. Он знал, что сделать это очень важно; если об этом забыть, то все остальное в жизни помнить уже ни к чему, потому что это станет самым последним и за ним уже не последует ничего, кроме темноты, еще более плотной, чем была сегодня, когда они вышли из землянки. И темнота уже не расступится, он никогда не увидит над головой ни звезд, ни ракет, ни самой завалящей трассирующей пули. Ему стало невы-

разимо жаль себя, неподвижно лежащего в поле, занесенного снегом.

Страшная тяжесть давила на закрытые веки, и он испугался—запорошило снегом глазные впадины. Может, снег уже не тает на лице, будто оно вовсе и не обтянуто живой кожей? Вот так же не тает снег на его кожаном ремне с командирской пряжкой.

Слепая злоба к фрицам душила сейчас Прибылова. Оставили его без капли горючего! И теперь он, по фрицевской милости, коченеет на снегу. Уже и ноги начали мерзнуть, а точнее, одна нога, потому что другой, перебитой, он вовсе не чувствовал, пока лежал неподвижно. Но стоило шевельнуть ногой, и его вдруг пронизывала такая боль, словно она накапливалась в ноге все время.

Да, придется взять костыли на вооружение, весь вопрос только — на всю жизнь или на время... Оттяпают ногу или не оттяпают, а младшим лейтенантом тебе уже не быть, Прибылов Владимир Павлович.

Каких только сведений не хранила его изрядно закоченевшая память! Он мог бы зарисовать сейчас, не заглядывая в карту, всю окрестную местность, как учил капитан. Помнил имена всех «языков», которых ему привелось заграбастать и приволочь на своем разведчицком веку,— Курт, Рихард, Франц, Гельмут, снова Курт, Отто и Генрих.

Генриха они привели вдвоем с Анчутиным, заставив «языка» притащить на спине катушку с проводом; связисты даже объявили Прибылову благодарность за этот трофейный провод.

Генрих был бы замыкающим на перекличке, которую мог бы провести Прибылов, при условии, что он сам и все его крестники числятся на этом, а не на том свете и не сняты у жизни с довольствия. Он даже помнил медали и ленточки, какие были на вшивом мундире Генриха. Переводчик разведотделения дивизии, такой вежливый очкарик, сообщил, что по чину Генрих — унтер-офицер, а награжден Железным крестом и медалями «Зимняя кампания 1941 года», «За пять атак» и «Крым».

А еще Прибылов помнил, что сегодня в батальоне имели хождение пропуск «Мушка» и отзыв «Минск». Это самый последний пропуск, какой он знал в своей жизни, и самый последний отзыв. Они больше не понадобят-

ся, а пропуск и отзыв, какие в штабе батальона наверняка сочинили на завтра, останутся ему неизвестны. Может, снова, как на прошлой неделе, окажутся в обращении «Боек» и «Байкал»? «Славное море, священный Байкал, славный корабль — омулевая бочка...» Только вот жаль, что молодцу плыть недалечко. Куда уж ближе... И не услыхать больше сердитый окрик часового: «Стой! Кто идет?»

Так давно не знал он страха, а сейчас страшился замерзнуть в чистом поле, один-одинешенек. Прибылов усмехнулся: «Вот ведь произвол судьбы! Пока жив был, числился в храбром десятке. А пришло время помирать — душа струсила...» Он всплакнул, из-под сомкнутых век полились слезы. Но, как известно, Москва слезам не верит. И вообще нужно мобилизовать свои нервы...

Пугала необычность и даже сверхъестественность того, что происходило вокруг.

Его обдало горячей взрывной волной, и воздух, как обычно, пропах вонючей смесью чеснока и горелого картона, но волна донеслась к Прибылову беззвучная — он не услышал разрыва.

Фрицы принялись швырять в небо ракеты, которые замысловато раскачивались, куролесили в небе как хотели. Как бы его самого не закрутило! А то развернет головой не в ту сторону, и сдуру поползешь не туда, куда нужно, а к Гитлеру в гости. Заблудиться недолго...

Видимо, крученые-верченые ракеты подали свой секретный сигнал, потому что вслед за ракетами все закрутилось: и черный снег, и белесое небо, и колючие палки репейника, торчащие из снега, и вытекшая фляжка, и перебитая нога, отчего боль усилилась. Не было сил отползти куда-нибудь подальше от этой сумасшедшей карусели...

Перед закрытыми глазами Прибылова повели хоровод какие-то симпатичные барышни — они зазывали его в свой веселый круг. «Вот дурехи! Да куда мне, безногому! Не видите, что ли, какой я плохой лежу на снегу? Жаль, не знаю, кто из девиц — кто, как кого зовут. Попросил бы, чтобы сделали перевязку. Ну и ну... Нашли время и место крутить вальс! И так голова идет кругом, а смотровые щели закрываются сами собой. Да перестаньте вертеться перед глазами! Хотя бы одна барышня пришла на подмогу!..»

Надо запомнить, куда он лежал головой до того, как началась крутоверть. Он пытался сберечь в памяти еще что-то, но есть ли в этом смысл? Может, лучше отрешиться от памяти вовсе, коль скоро в ней затерялось самое отчаянно нужное, от чего зависит все...

В руке Прибылов по-прежнему держал индивидуальный пакет, но никак не мог сообразить, что нужно с ним делать, хотя и понимал, что если этого не вспомнить, то индивидуальный пакет никогда ему не потребуется.

Значит, ракета, вот та, едва заметная, темно-желтая, почти коричневая ракета, которая только что погасла,— последняя, какую он видел в своей жизни? И страх этот — последний, какой ему пришлось испытать? И боль, которая вышибает из ума,— последняя? Значит, израсходовал он свою жизнь? Значит,— все?

Да, все, если не вспомнить, в чем заключается спасение, а вспомнить это ему по-прежнему не удавалось.

Значит, вот про таких и говорится в приказах Верховного Главнокомандующего: «Слава героям, павшим в борьбе за честь и независимость нашей Родины!..»?

Ему стало стыдно слез: ведь они замерзнут на стылых щеках и тогда все узнают, что покойник плакал перед смертью. Он хотел вытереть слезы и протянул руку.

Однако что он держит?

И тут его осенило: нужно перевязать ногу этим бинтом, остановить кровотечение. Но как сделать перевязку? Для этого нужно приподняться, переложить пакет в левую руку, дернуть за нитку, разорвать пергаментную обертку. Где взять столько сил?

«Вот полежу еще минутку, потом повернусь на бок, выпростаю левую руку, дерну... Еще минуту... Не могу же я обледенеть за минуту...»

Но сил у него с каждой минутой не прибывало, а уменьшалось. Уже не осталось сил, чтобы открыть глаза,— веки не слушались.

Прибылов не знал, что льготная минута, которую он вымолил сам у себя, трагически растянулась. Он все слабел, слабел, слабел от потери крови и впал в беспамятство, черное, как все вокруг...

Беспрозванных отползал последним, он прикрывал отход двух других разведчиков из левой группы обеспечения.

Рассказать связно обо всем, что произошло, Беспрозванных не смог бы. Он помнил только, что возле блиндажа вспыхнуло желто-фиолетовое пламя — это граната. Помнил, как из траншеи донесся чей-то вопль (так может кричать только человек, заглянувший в глаза смерти), затем очередь из автомата, топот, лихой свист, хриплый крик «фойер!», тотчас же приглушенный, железное звяканье, ругань, тяжелое дыхание (или кряканье, или стон), щелканье ракетницы, снова очередь из автомата и новый разрыв гранаты. Его обдало запахом жженого пороха, что-то ненашенское было в этом запахе — наш порох так не пахнет.

Еще он помнил, как два немца бросились наутек по ходу сообщения, и вот тогда вмешалась в дело их группа обеспечения. Он тоже открыл огонь из автомата, но так как стреляли все трое, к тому же Шульга швырнул гранату, не понять было, кто именно покарал фашистов в ходе сообщения, да это и не так важно...

И хотя Беспрозванных остался в поле один, он не чувствовал растерянности. Он полз по следам, которые оставили товарищи. Может, свежепримятый снег уберег его от страха?

Только побывав сегодня в этой переделке, Беспрозванных признался себе, что он не имел еще морального

права проситься в группу захвата; не было уверенности, что у него хватило бы самообладания, спокойствия в самые жуткие минуты рукопашного боя. Может, Прибылов прав был, когда сомневался в нем и спрашивал: «А если у тебя душа струсит? Если начнешь в разведке зубами стучать на всю окружность?»

Вот этого больше всего боялся и сам Беспрозванных. Страх страха был у него сильнее страха смерти. Вдруг в самый критический момент зубы и в самом деле начнут выстукивать дробь? И с ними тогда уже не будет сладу — хоть подвязывай челюсть бинтом, хоть выбивай себе прикладом все зубы до единого.

И он был счастлив тем, что у себя в группе обеспечения не ударил сегодня в грязь лицом, не испугался до потери осторожности, не утратил контроля над собой, за каждым своим шагом, жестом. И сейчас, когда он остался в одиночестве и полз по заснеженному пустырю под носом у немцев, он не терял присутствия духа.

Немцы кидали вдогонку гранаты из траншеи, но осколки и прежде не долетали, а теперь он отполз уже метров на пятьдесят, до него доносилась лишь ослабевшая взрывная волна.

Вот наконец и репейник, за которым он отлеживался, когда полз сюда.

Переполох не унимался, и в небе шла разноцветная кутерьма — одни ракеты освещали дымки других, только что отгоревших. Благодаря этому он заметил белый бугор странной формы. Не похоже на сугроб, не похоже и на заметенный репейник.

Он подполз ближе — лежит кто-то в белом халате с капюшоном. Вгляделся — Прибылов, старший сержант!

Беспрозванных приподнял ему голову, и при вспышке той же ракеты заглянул Прибылову в глаза. Зрачки сузились, но не погас отблеск таившейся в них жизни.

Индивидуальный пакет, зажатый Прибыловым в руке, и расплывшееся пятно на белой штанине подсказали, что нужно делать.

После перевязки Беспрозванных снял с себя маскировочный халат, расстелил его на снегу и подоткнул под туловище раненого.

Прибылов опамятовался.

— Товарищ старший сержант! — зашептал Беспрозванных.— Потерпите еще немного. Скоро будем дома...

— А ты кто? Голос вроде знакомый...

— Да новенький я. Беспрозванных.

Он продернул длинные рукава своего маскхалата у раненого под мышками, связал оба рукава на груди двойным узлом. Можно будет ухватиться за капюшон, как за ушко мешка, и тащить волокушу за собой.

— Овес-то нонче почем? — неожиданно шепотом спросил Прибылов.

— В той же цене,— ответил в тон раненому новенький; он обрадовался тому, что у Прибылова достало сил пошутить.

Беспрозванных вновь заглянул ему в глаза, и при свете ракеты их взгляды встретились.

— Ты меня, парень, уж пожалуйста...

Прибылов снова впал в забытье.

Теперь Беспрозванных было безразлично, в халате ползти или без халата, он был далеко от немецких позиций. К тому же пошел снег, видимость ухудшилась. А в одной телогрейке ползти даже способнее. Он закинул за спину свой автомат, а также автомат Прибылова, лежавший рядом с хозяином на снегу.

Он тащил раненого и силился угадать: что хотел сказать Прибылов? О чем просил? Чтобы не оставили одного в поле? Или чтобы новенький не обижался на злые шутки и насмешки?

Когда он в начале поиска карабкался на обледеневший косогор, он не раз помянул тот косогор недобрым словом. А сейчас, когда из последних сил волок Прибылова на изорванной подстилке, в которую уже превратился маскхалат, Беспрозванных проникся к этому косогору нежностью — все-таки тянуть волокушу с горы не в пример легче.

Оба сползли в овражек. Беспрозванных осторожничал как только мог: недолго и скатиться кубарем с крутого склона, тогда раненый снова потеряет сознание от боли.

В овражке Беспрозванных впервые поднялся на ноги и разогнулся. Он почувствовал, как по спине его, между лопаток, струйкой потек пот.

Как найти старую «калитку» в колючей проволоке?

Тут он вспомнил, как задал старшему сержанту вопрос по поводу хвои и как тот ни к селу ни к городу приплел немецких овчарок. Конечно, вопрос был не шибко разумный, можно бы и самому догадаться, если лишний раз поднатужиться. То, что старший сержант поднял его на смех, Беспрозванных постарается забыть, это, в конце концов, не так важно, а важно, что тропка перед «калиткой» должна быть обозначена хвойными вешками.

Как назло, немцы в эти минуты скупились на освещение. Вот когда он таился у них под носом, то проклинал каждую ракету, а тут, в овражке, темнота была ему только помехой.

Еще недавно он радовался тому, что идет снег и видимость никудышная, а сейчас и редкий снежок мешал ему ориентироваться: ведь в низинке всегда темнее, чем на взгорке.

Сколько хвойных сучьев и веток обрубил на своем веку лесоруб Беспрозванных, очищая стволы сваленных елей, горы валежника навалял, а не думал, что чепуховская ветка сыграет в его жизни такую роль!

Вот она, спасительница, торчит из снега!

Да, Евстигнеев не лежал со своими саперами на снегу сложа руки. Саперы расширили за это время проход, оттянули концы колючей проволоки в стороны. Это уже не лазейка, не «калитка», а можно сказать — ворота! Ну, а за проволокой его окликнул сам Евстигнеев.

Саперы подхватили раненого и понесли не пригибаясь, да так быстро, что новенький налегке не мог поспеть за носильщиками.

Оказывается, на поиски старшего сержанта уже отправилось несколько человек, но, видимо, снегопад сбил их со следа; сейчас Евстигнеев отправится на поиски тех, кто ищет.

Новенький не сразу уразумел Евстигнеева: поначалу ничего не слышал, кроме стука в висках. Он стоял с двумя автоматами за спиной и оттирал свою руку. Правая рука, которой он загребал снег, когда полз, превратилась в ледышку.

Как прекрасно и удивительно, что ему разрешается идти во весь рост, а не ползти по-пластунски, зарываясь в снег. Странно, что ему не нужно тащить никакой тяжести.

Он побрел к землянке. Он был так измучен, что не мог думать ни о чем, кроме хвойной лежанки. Он прямотаки с вожделением думал о том, как войдет в землянку, сбросит с плеча автоматы, снимет валенки, телогрейку, ватные штаны, повесит портянки поближе к печке, протрет ветошью кинжал Прибылова и автоматы, чтобы не запотели, накроется своей шинелью, закроет глаза — и точка. Лишь бы успеть все это проделать до того, как его свернет в сон.

Он откинул полог из плащ-палатки, вошел в землянку и хотел снять телогрейку. Но пальцы не слушались, он никак не мог расстегнуть пуговицы.

Огляделся он в землянке так, словно очутился тут впервые,— это оттого, что мысленно он уже попрощался с этой землянкой навсегда.

С любопытством взглянул он на бревенчатую стену, завешанную шинелями (его шинель третья справа, рядом с осиротевшей шинелью Прибылова), на лампадку из снарядной гильзы (казалось, в его отсутствие лампадка научилась гореть ярче), на печку, возле которой грелись бойцы — словно они весь вечер не отходили от печки.

В землянке уже знали о ранении Прибылова, о захвате «языка», рассказывали подробности, которых новенький не знал. Не умолкал азартный гул голосов, все говорили громче обычного, перебивали друг друга.

Он старательно вслушивался в то, что говорили соседи по землянке, но с трудом понимал, о чем идет речь. Быстро надвигалась минута, когда усталость, а вернее сказать, изнеможение возьмет верх над возбуждением недавнего боя.

Но почему же его не настиг сон, откуда вдруг пришла тревожная бессонница?

На душе было зябко и муторно, а все потому, что он неотступно думал о раненом старшем сержанте.

Доставили его уже в медсанбат? Или он еще трясется в санях? А может, ему сделали переливание крови? Или его сейчас готовят к операции? Ждет его увольнительная с фронта или он поправится, вернется к себе во взвод? Тогда он, Беспрозванных, обязательно попросится к нему под начало. Он многого не успел сказать старшему сержанту, ему так нужно с ним поговорить...

Новенький не знал, что именно скажет Прибылову, но

собирался сказать ему нечто отчаянно важное, что-то клятвенно ему обещать, заверить в том, что на него, Ивана Беспрозванных, теперь можно облокотиться в серьезном деле.

1941—1945

ЛЯВОНИХА

Все лето музыкальные инструменты прожили в пятнистых чехлах, скроенных из немецких плащ-палаток. Непромокаемая зеленовато-коричневая парусина облегала медные тела плотно, как кожа. Чтобы предохранить трубы от ушибов, их перекладывали сеном.

Трубы разъезжали на пароконной повозке. В упряжке ходили ленивая, вечно сонная кобыла Панорама и Валет, бывалый на войне гнедой мерин, дважды раненный.

Инструменты тоже не убереглись от осколков. И хорошо, что оружейники взялись заделать пробоину в геликоне и залатать еще парочку труб. Музыкальные инструменты чинили в оружейной мастерской — может быть, в этом ярче всего сказался воинственный характер искусства в наши дни.

На эту же повозку складывали подобранные на поле боя немецкие автоматы, винтовки, сухощавые и тонконогие пулеметы, офицерские сумки, фляги, коробки с

патронами, шанцевый инструмент и другое трофейное имущество, потому что, по жестокому закону войны, полковые музыканты одновременно несут обязанности трофейщиков и могильщиков.

Не все легко и сразу привыкли к этому. Первый кларнет Янтаров, тихий и безобидный человек, больше других тяготился печальным совместительством. Он все вздыхал и страдальчески кривился. Янтаров чаще других вынимал из футляра и протирал кларнет, он больше всех огорчен был долгим молчанием оркестра. Все рассказы о своей прежней жизни он начинал фразой:

— Когда я играл в симфоническом оркестре филармонии...

Басист Никитенко, он же Силыч, грузный и флегматичный, уже в летах, занимался похоронными делами невозмутимо, и выражение лица у него было неизменно равнодушным, как и во время игры в оркестре.

Никитенко сызмальства играл в плохоньком духовом оркестре в каком-то южном провинциальном городке, кажется в Армавире. Это был оркестр, который за недорогую плату и за угощение скрашивал обывательское житье в его радостях и печалях. Профессия сделала Никитенко циником: приходилось в один день играть на свадьбе, на похоронах, на танцах, снова на похоронах и еще в ресторане...

Днем у деревни Горынь отгремел небольшой, но трудный бой. Нужно было обшарить все окопы, кусты и, как говорил Решетняк, «прибрать за фашистом», так что работы и Никитенко, и Янтарову, и всем остальным хватило допоздна.

Когда подошел поспешный и стылый октябрьский вечер, все уселись у костра в ожидании ужина.

В такой вечер нет пленительнее звука, чем треск горящих сучьев, и нет на земле для солдата более желанного места, чем у костра. Музыканты сидели тесным кружком, обратив лица к огню. Иные дремали, сморенные теплом и усталостью. Шаткие отсветы костра играли на лицах. Огненные языки то яростно трепетали на ветру, то исчезали где-то меж головешек. Пламя только притворялось сердитым, оно не обжигало доверчиво протянутых рук.

Повозка, нагруженная всякой всячиной, уходила на

трофейный склад, и инструменты пришлось выгрузить. Они лежали на земле в своих чехлах, которые сейчас сделались совсем черными.

Старшина Сенкевич, командир музыкантского взвода, он же капельмейстер, долго молчал, а потом сказал, задумчиво глядя на желтое пламя костра:

— А ведь я сегодня именинник. Горынь — это уже Белоруссия. Отсюда до моих Людиновичей каких-нибудь сорок, от силы — сорок пять километров.

Отсюда Сенкевич уже знал дорогу на память, без карты. За Горынью — Довженицы, потом Зябень, Авдотьино, Зеленый Клин, Голынец и родные Людиновичи.

Все промолчали, а предупредительный Янтаров сказал:

— Что же, поздравляю. Такой праздник и отметить не грех.

— Выпить не мешает,— сказал Никитенко и при этом не то крякнул, не то чмокнул губами.— Но только выпить, как полагается на празднике, а не просто принять капли.

«Принять капли» — это, на языке Никитенко, называлось выпить сто граммов. Басист ухитрялся, грешным делом, выпивать даже спирт, который выдавали зимой для отогревания инструментов перед игрой — чтобы пар от дыхания не оседал ледком на медных стенках.

— С твоим аппетитом только при коммунизме жить! — сказал Решетняк.— Хотя неизвестно: может, еще горилку при коммунизме совсем отменят...

— А хорошо бы, если деревня жива, прийти с музыкой! — мечтательно, думая о своем, сказал Сенкевич. От радостного возбуждения он привстал, откинул со лба черную прядь, и костер посветил ему в глаза.— У нас в Людиновичах в бывшее время ни один праздник без лявонихи не обходился. Как вы насчет лявонихи? Разучить бы да сыграть для Белоруссии! А, товарищи?

Один только барабанщик Касаткин высказался за марш. Все остальные поддержали Сенкевича, и уже назавтра, чуть свет, старшина принялся инструментовать лявониху для своего оркестра.

Делал это Сенкевич с блеском и выдумкой. Скоро ноты были готовы, и все собрались на первую репетицию.

Репетиция состоялась в пустом колхозном сарае на краю деревни Авдотьино.

Альтист Решетняк смастерил из жердей несколько пюпитров, притащил откуда-то неисправные миноискатели и тоже приспособил к делу, воткнув их шестами в земляной пол сарая.

Всем хотелось размять губы, а что касается Иннокентия Иннокентьевича Янтарова, то для него уже сама репетиция была праздником, священнодействием. Он осторожно вынул кларнет из чехла, долго тер и чистил каждый клапан. Потом снял выцветшую за лето пилотку и пригладил волосы, как бы опасаясь за безупречность пробора. Все движения его сразу стали степенными, будто сидел он не в сарае, на перевернутом рассохшемся бочонке, а в оркестре филармонии. Горят люстры, на нем белоснежная крахмальная манишка и галстук бабочкой, а на ногах лакированные туфли, блестящие настолько, что в них отражаются плитки паркета...

Никитенко уселся за ноты без особой охоты, но разучивал партию старательно. Когда он играл на своей трубе слоновьей комплекции, у него двигались не только губы, щеки, но даже нос и уши; лицо краснело и становилось одутловатым.

Старшина Сенкевич хлопотал и волновался больше всех. Он дирижировал, сам брался за кларнет, тут же правил ноты, на ходу улучшая оркестровку.

В овраге, не доходя деревни Зеленый Клин, состоялась вторая репетиция, но на третью репетицию Сенкевич не явился. Накануне он дежурил на командном пункте дивизии, и его ранило осколком мины в тот момент, когда он играл сигнал «воздушная тревога».

Сенкевича отправили в медсанбат. На прощанье, уже лежа на носилках, он сказал товарищам:

— Двадцать два километра... А по прямой того меньше...

Все поняли, что речь идет о родной деревне, а Сенкевич заплакал.

— Ты, Афанасий, не журись,— принялся успокаивать раненого Решетняк.— Лявониху мы разучим согласно нотам. Доставим привет семейству и всей деревне. А вскорости, может, и сам объявишься. Добрые люди гуторят, что зараз после госпиталей отпуска выдают...

Людиновичи были взяты вторым батальоном с ходу, и деревня осталась в живых. Когда в деревню вступал музыкантский взвод, навстречу ему гнали из дальнего леса спасенное от фашистов деревенское стадо.

Коровы сами разбредались по своим калиткам и воротам: они не успели отвыкнуть от дома за дни, которые прожили в лесу. Было что-то странное в этом неурочном, средь бела дня, возвращении стада.

Солнце еще довольно высоко стояло в голубом октябрьском небе, редкие белые облака плыли в вышине, как бы нарочно для того, чтобы оттенить небесную голубизну.

Фашисты продолжали изредка швырять в деревню мины. Но уже толпились на улице жители, потому что счастье переполнило сердца, а на людях, когда можно поделиться радостью с другими, ощущение счастья всегда полнее. Уединяться любит горе, а счастье не терпит одиночества.

Решетняк быстро нашел избу Сенкевича и все его семейство.

— Афанасий Сенкевич, ваш сын, а наш товарищ, велел кланяться...— доложил Решетняк старикам, стоя по команде «смирно». И, преодолев смущение, добавил: — ...поскольку он воюет сейчас за другие деревни и не мог прибыть зараз на праздник. Афанасий будет попозже, мабуть через месяц-другой, а пока прислал оркестр и велел на радостях сыграть для вас и для громадян.

Музыканты уже успели расчехлить трубы, а Решетняк все еще отвечал на расспросы, зацелованный родителями и сестренками Афанасия, растерянный и, кажется, впервые в жизни потерявший дар речи.

Взвод расположился в садике на бревнах, пнях, табуретках, ящиках из-под мин. Все достали из карманов мундштуки, Иннокентий Иннокентьевич роздал ноты.

Послеполуденное солнце горело на трубах нестерпимо и яростно, точно грозилось расплавить их своим скудным октябрьским теплом.

И вот медь оркестра поплыла над деревней, еще помнившей запахи боя и его подробности. Вся деревня, от мала до велика, сбежалась в садик Сенкевичей.

Люди стояли с лицами серьезными и строгими, точно

они не слушатели концерта, а свидетели какого-то огромного события.

Уже отзвучал старинный марш «Тоска по родине», и танго «Брызги шампанского» с его мимолетной ресторанной грустью, и душещипательная солдатская «Махорочка», и фантазия «Болеро».

Потом Решетняк торжественно объявил:

— А зараз духовой оркестр Смоленской дивизии, по просьбе земляка вашего Афанасия Сенкевича, сыграет для громадян танец лявониху! Так сказать, в честь радяньского белорусского народа, який я широко приветствую от имени сержантского и рядового состава взвода и желаю гарного здоровья и доброй радости на страх и на горе недругу...

«И вам доброго здоровьичка!», «Просим!», «Сделайте уважение!» — отозвалось из толпы несколько голосов.

Решетняк перевел дыхание, отер со лба заблестевшие капли пота и, довольный тем, что речь уже сказана и самое трудное позади, приглашающе поднял прутик.

— Две четверти, фа-мажор,— сказал он важно.

Иные музыканты разложили ноты прямо на земле, перед другими ноты держали мальчишки. Эти вихрастые голоногие пюпитры стояли не шевелясь, бесконечно гордые оказанным им доверием. Особенно повезло восьмилетнему Олесю Сенкевичу — он держал ноты перед са-

мым большим дядькой, который играл на самой большой, самой важной трубе. Олесь держал ноты кончиками пальцев осторожно, едва прикасаясь к ним. Так держат бабочку, когда боятся помять ей крылышки.

Музыканты заметно волновались: казалось, командир их, Сенкевич, требовательный и строгий маэстро, незримо присутствует на концерте. Даже Никитенко, восседавший на пне в обнимку с геликоном, был сегодня как-то по-особенному озабочен и, ожидая взмаха дирижерского прутика, все посматривал на ноты.

Широким жестом, идущим от плеча, Решетняк рассек воздух. Тотчас же вступили кларнеты, теноры и альты, за ними воркующий баритон, остальные трубы, бас Никитенко — и вот уже в предвечерней тишине возникла мелодия лявонихи.

Вначале мелодия лилась плавно, с какой-то торжественной величавостью, словно это был не танец, а гимн. Потом мелодия перешла в минорный тон, и тогда, незатейливая и простенькая, она казалась невыразимо печальной, как упрек в неверности, как воспоминание об утраченном счастье.

Но вот лявониха, омоложенная вариациями, пошла в более быстром темпе, затопляя все вокруг звучным потоком. Девушки еще стояли неподвижно, но залихватская мелодия уже билась волной у их ног, так и подмывала пуститься в пляс. Еще шаткая минута колебания — и не знающая удержу лявониха оторвала от земли каблуки, подошвы и босые пятки, повела их, закружила в стремительной пляске.

Девушка, по-старушечьи повязанная желтым платком, первая прошлась по кругу, послушная властному ритму.

За ней, подбоченясь и притопывая, понесся какой-то старичок в немецких сапогах, за ним парень с молодкой, две хихикающие девицы, дядька, по самые глаза заросший рыжим волосом, бойкая старуха в ватнике и еще девчата и парубки.

У девушки, начавшей танец, раскраснелись щеки, желтый платок упал на плечи, открыв нежные линии шеи и подбородка; она то и дело откидывала со лба черную волнистую прядь. Жест этот показался очень знакомым Решетняку. «Где я бачил эту дивчину? — подумал

он и сразу догадался: — Да она же как две капли воды похожа на Сенкевича! Значит, сестренка».

Глаза девушки горели задорным блеском, она все быстрее и быстрее—топ-топ!—пристукивала каблучками.

Топ-топ, топ-топ-топ!

Шире круг веселья! Крепче бейте чеботами по своей колхозной земле! Смотрите смело и открыто — некого бояться, некого стесняться!

Оркестр старался изо всех сил. Пот заливал глаза Иннокентию Иннокентьевичу, губы его онемели, а он все

играл и играл. Музыканты старались так, будто хотели доказать слушателям, что их вовсе не одиннадцать человек, а по крайней мере втрое больше. Так бойцы роты, поредевшей в боях, воюют еще упорнее — и за себя и за ушедших товарищей.

Вот взялся рукой за сердце и отстал от неутомимой партнерши старичок в трофейных сапогах, а желтый платок, упавший на статные плечи девушки, все еще мельтешил перед глазами Решетняка.

Потом, когда танец отгорел, музыкантов долго, всем миром поили парным молоком и кормили всякой снедью. Самую большую крынку, вместе с горой ватрушек, поставили перед Никитенко.

Тот был наверху блаженства. Никитенко не то чмокнул губами, не то крякнул и первый, не дожидаясь особого приглашения, принялся за еду.

Ужин затянулся. Колхозники уговаривали музыкантов заночевать — ну куда они пойдут на ночь глядя? Никитенко был весь — немая мольба, он смотрел заискивающе, но сержант Решетняк остался неумолим.

— Я так понимаю, что большую должность занимает твой Опанас в Красной Армии,— сказал Сенкевичу-отцу его сосед, старик Грибовский, тоже провожавший музыкантов в дорогу.— Оркестр прислать! Шуточное ли дело! Ведь это, если и по мирному времени взять...

— А ты как думал! Опанас — он хлопец такой у меня! — весело и гордо сказал Сенкевич-отец и в третий раз пошел прощаться за руку со всеми музыкантами.

Инструменты переложили сеном, Валет и Панорама тронулись с места, понукаемые барабанщиком Касаткиным, а за повозкой зашагали бойцы взвода.

Стемнело очень быстро, и теперь все увидели впереди на небе отсветы далекого пожара.

Зарево на горизонте сделало небосклон еще более темным, и от этого лучше обозначилась не по-осеннему сухая и пыльная дорога: она была светлее неба.

1943

Генерал дал отпуск всем четырем саперам, подорвавшим мост. Мельничук уехал куда-то на Полтавщину, Скоморохов — в Вологду, Гаранин подался в городок Плес, лежащий на Волге, а Вишняков заявил, что едет в Смоленск.

— Ну куда ты поедешь? — пытался отговорить его взводный Чутко.— Человек ты одинокий...

— «Одинокий, одинокий»! — передразнил Вишняков.— Может, у меня родные в Смоленске проживают. Откуда ты знаешь?

— Насчет родных ты, конечно, заливаешь, но отговаривать больше не стану. Сам пожалеешь.

— Все едут, один я сиди на месте! Раз отпуск дан, значит, имею полное право уехать! — ворчал Вишняков, укладывая вещевой мешок.

Насчет родни Вишняков соврал, но оставаться очень не хотелось: что он, хуже других, что ли? А кроме того, Вишнякову показалось, что взводный отговаривает его от поездки с умыслом: не хочет остаться без помощника, боится лишних хлопот.

— Не найду родичей — могу сразу обратно податься,— сказал Вишняков, уложив в мешок сухой паек.

При этом он примирительно протянул взводному пачку «Дели» — подарок генерала.

И только когда Вишняков взгромоздился на попутную машину и полк остался далеко позади, его начали одолевать сомнения. Может быть, Чутко прав? Какой смысл мытариться несколько суток и вернуться более одиноким, чем прежде!

Чем дальше он отъезжал от полка, тем сиротливее и неуютнее чувствовал себя в кузове чужой машины.

Смоленск встретил его толкучкой у железнодорожного переезда. По обе стороны путей толпились машины. Все нетерпеливо поджидали, пока маневровый паровозик, страдающий старческой одышкой, угомонится и перестанет шнырять взад-вперед, как казалось всем шоферам, без толку и без всякого смысла.

Шоферы давали гудки, иные пассажиры нетерпеливо покрикивали на стрелочницу у шлагбаума.

Вишняков достал кисет и спокойно стал сворачивать самокрутку. Торопиться ему было некуда.

Потом он слез с машины, чинно поблагодарил шофера и не спеша направился в город. Он шагал по тротуару, старательно обходя бело-голубые лужи, в которых отражалось апрельское небо.

До этого Вишнякову довелось побывать в Смоленске раз в жизни, полгода назад, когда их батальон первым вступил в заречную часть города. Дивизия их носила с того дня название Смоленской, и Вишнякову, когда он собирался в дорогу, казалось, что по одному этому он будет чувствовать себя в городе как дома.

Но сейчас мимо него шли чужие люди, которым не было никакого дела до приезжего. Все торопятся, все озабочены, все сосредоточенно смотрят себе под ноги, боясь оступиться в лужу на разбитом тротуаре, который тянется вдоль разрушенных домов.

Вишнякову казалось, что вот он пройдет эту искалеченную улицу, и за ней наконец-то начнется настоящий город. Но квартал за кварталом оставался позади, а живой, невредимый город все не показывался: те же руины, те же каменные коробки, выстланные внизу черным, нетающим снегом.

В такой погожий день пешеходы обычно держатся поближе к краю тротуара: каплет с крыш и льет из водосточных труб. Но в этом городе с крыш не каплет и трубы всегда сухи, потому что крыш нет.

Вишняков запрокинул голову. Бело-голубое небо смотрело на него из проемов в стене. На высоте третьего этажа повисла кровать, скрученная огнем, а рядом прилепилась к стене печь в белых изразцах. Люди всегда тянутся к теплу, кровати всегда жмутся к печам, и вид обугленной кровати у холодной навеки печи заставил сжаться сердце. Оттого, что дома были разрушены и небо смотрело из окон, улица казалась просторнее, чем была на самом деле.

Дорога шла в гору. Как будто бы Вишняков проходил здесь в день боя, но тогда улица не показалась ему столь крутой. Он вспомнил, что шел тогда с полной выкладкой — с винтовкой, с миноискателем,— и день был теплее, чем сейчас, и уйму верст отмахал он за день, а не устал: в горячке любая горка покажется отлогой, любая тропка — прямой.

Он дошел до углового дома, где висел пустой и ржавый ободок от уличных часов. Когда-то часы смотрели с этого перекрестка в три циферблата.

Проходил ли Вишняков здесь в тот день? Точно он не знал, но пустой ободок часов показался ему знакомым. Он еще подумал тогда, что, наверно, раньше у этих часов кавалеры и барышни назначали свидания.

Вишняков завернул за угол, осмотрелся. Не здесь ли он втроем с Чутко и Скомороховым разминировал мостовую? Ну конечно! Вот на этом перекрестке они нашли под булыжником мину замедленного действия.

Он пошел знакомым путем вдоль тихого переулка, стоявшего в голых ветлах. Где-то здесь, в этих местах, Вишняков, помнится, спас от взрыва ветхий домик. Фашисты заминировали его, пока жильцы пережидали бой в погребе. Вишняков отчетливо вспомнил половицы в комнате — они были шаткие, такие же, как ступеньки крыльца. Одну мину он извлек из печки, другая должна была взорваться, как только стронут с места чайник, голубой чайник в черных пятнах там, где сбита эмаль.

Но вот где эта улица, где этот дом? И каков он с виду, этот дом, обойденный огнем? Вишняков поравнялся с домиком, стоящим в глубине двора. Неужели это он, такой неказистый? Помнится, и тот дом стоял, прислонившись к раскидистой ветле, и такой же вот хилый забор тянулся под окнами.

Он постоял минуту, потом махнул рукой и пошел дальше. Но чем больше он удалялся, тем острее было любопытство и желание вернуться, желание, которое вскоре стало мучительным, непреоборимым. «Все равно придется к кому-нибудь проситься посидеть, отдохнуть»,— подбодрил себя Вишняков.

Он вернулся, поднялся по шатким ступенькам на крыльцо и постучался.

Дверь открыла светловолосая девушка в джемпере.

— Разрешите, хозяйка, отдохнуть с дороги,— попросил он.

Девушка смерила незнакомца строгим взглядом и не слишком приветливо и торопливо сказала:

— Ну заходите.

Вишняков робко, как-то боком, протиснулся в дверь, вытер ноги, потом уселся на краешке стула и принялся развязывать свой вещевой мешок.

— Вы что же, смоленская? — спросил Вишняков.

— Да.

— Значит, земляки.

— А вы где тут жили?

— Зачем жили! Мы воевали в этих местах. Дивизия наша Смоленская.

— Вот как,— сказала девушка равнодушно. Вид у нее был такой, точно она хотела сказать: «Пустили в дом — и скажи спасибо. А развлекать разговорами каждого прохожего я не собираюсь, и легких знакомств тут искать нечего».

Вишняков то и дело посматривал на печку, а потом уставился на знакомый голубой чайник в черных отметинах.

Девушка перехватила его взгляд, нахмурилась и поджала губы: «И чего засматривать в чужую печку? Вот возьму и не угощу чаем! Не будет в другой раз нахальничать».

— А когда за Смоленск война шла, тут жили?

— Мама и сестренка — здесь. Я в деревне у тетки пряталась.

— Дела-а! — неопределенно протянул Вишняков и опять внимательно посмотрел на печку.

Он все ждал, что девушка предложит ему снять шинель и тогда увидит, что человек он заслуженный,

гвардейского роду-племени и при наградах, а не какой-нибудь замухрышка. Но девушка ничего не сказала, занятая шитьем и своими мыслями; в ее молчании проскальзывало немое ожидание: когда же непрошеный гость уйдет и оставит ее в покое?

В комнате было тихо, и только на печке, собираясь вскипеть, тонко пел чайник. Вишняков еще раз посмотрел на чайник, вздохнул и принялся убирать сахар, хлеб и сало в вещевой мешок.

Девушка сидела не поднимая головы; судя по всему, была всецело занята шитьем, но Вишняков заметил, что она смотрит на пол. Следы его сапог были видны отчетливо на тех самых, памятных ему половицах.

— Наследил я тут у вас,— виновато сказал Вишняков.— Вытирал-вытирал ноги, а все-таки вот...

— Пустяки,— сказала девушка, но при этом опять повела бровями и нахмурилась.

Вишняков наскоро собрался и сказал, вставая:

— Не смею задерживать. Премного благодарен.

Он обиделся, а потому был сейчас подчеркнуто вежлив.

— Пожалуйста,— сказала девушка, но в слове этом не было сердечности.

Она встала, отложила шитье и пошла проводить гостя — просто торопилась закрыть за ним дверь.

Выйдя на крыльцо, Вишняков церемонно раскланялся и зашагал через двор. У забора, на бугре, свободном от снега и уже высохшем, играли дети. Девочка в белом капоре и ватнике, который заменял ей шубенку, пристально посмотрела на Вишнякова, вскрикнула и со всех ног кинулась к нему:

— Дяденька, не уходите! Я вас знаю!

Девочка ткнулась лицом в закопченную шинель, обняла крепко его колени, и от этого сердце Вишнякова сразу сладко и остро заныло. Он погладил девочку по голове осторожно, будто боялся помять или испачкать капор.

— Откуда ты меня, девочка, знаешь?

— А вы тот самый дяденька, который мины искал. Забыли? Мы с мамой стояли и ждали. Потом сахар дали... Забыли?

— Нет, помню.

— Люба, наш дяденька нашелся! — закричала девоч-

ка, все еще держась руками за шинель. Держалась она самыми кончиками пальцев: ей мешали непомерно длинные рукава ватника.— Идемте к нам, дяденька, к нам! Мама узнает, вот обрадуется!

Вишняков обернулся и увидел, что девушка в джемпере стоит на пороге: то ли она все время следила, то ли выбежала на крик. Он успел заметить, что девушка в джемпере очень похожа на девочку в ватнике.

— Я уже к вам заходил! — сказал Вишняков девочке по возможности весело.

Но девочка не слышала и тащила его к дому:

— Это тот самый наш дяденька! С минами!

Он упирался, но не слишком сильно, и скоро, смущенный, оказался лицом к лицу с еще более смущенной Любой. Она взялась за вещевой мешок, который он продолжал держать, и сказала огорченно:

— Что же раньше не сказали? Теперь краснеть заставляете.

— Еще наслежу опять...

— А вы, оказывается, злопамятный! Ну, простите меня...

Люба потянула к себе вещевой мешок, но Вишняков его не отдавал.

— Откуда я знала, что вы тот самый дяденька? — сказала она мягко, но тут же перешла в наступление: — И вообще вы сами виноваты! Да, да, сами! Вошел, как к чужим. Такой молодой, а скрытный!.. Нехорошо. Вы знаете, что с вами за это надо сделать?

— Нет,— улыбнулся Вишняков.— Не знаю. Что-нибудь страшное?

— Наказать вас надо, вот что! Вот возьму сейчас и расцелую вас за мамашу, за Алёнушку и за себя! Ну, ну, не бойтесь, не буду! На первый раз я вас прощаю.

И прежде чем Вишняков нашелся что ответить, она решительно отобрала у него вещевой мешок, взяла из рук ушанку. Вишняков так и остался стоять посреди комнаты и от растерянности начал приглаживать рыжеватозолотистый чуб.

Лицо у него было открытое, слегка скуластое и все в веснушках. К таким лицам идут светлые глаза и курносые носы. У Вишнякова же нос был прямой, чуть с горбинкой, а глаза темно-карие.

Алёнушка первая догадалась протянуть дяденьке гребенку, а через минуту вскарабкалась к нему на колени и принялась рассказывать о каких-то происшествиях на дворе. Дяденька слушал ее так внимательно, будто специально приехал, чтобы узнать все подробности про дворовых щенят. Алёнушка водила пальчиком по лучам Красной Звезды, жмурилась от удовольствия и лепетала что-то о своих делах.

Вишняков чаще всего видел на войне детей с лицами озабоченными, как у взрослых, с глазами в морщинках, с поджатыми губами: эти дети видели в жизни столько страшного, что разучились плакать, их трудно чем-нибудь испугать. Алёнушка же сохранила драгоценную ребяческую наивность, в больших голубых глазах ее светилась доверчивость.

Потом пришла из школы Анна Федоровна. Она увидела гостя, обмерла и осталась стоять в дверях, прижимая к груди пачку ученических тетрадей.

— Вы? Боже мой! Вот это радость! — воскликнула Анна Федоровна еще с порога.— Ну, идите же, я вас обниму.

Вишняков шагнул навстречу; они обнялись и расцеловались.

— А со мной, мама, Василий Яковлевич не хотел так здороваться! — сказала Люба смеясь.— Хорошо, что ты пришла. Я тут совсем было гостя обидела.

Анна Федоровна опять принялась вспоминать, как они тогда бежали с Алёнушкой по улице, после того как весь день просидели в соседском погребе, и как обрадовались, когда увидели, что дом цел. Но какой-то красноармеец остановил их во дворе строгим окриком и даже погрозил палкой с обручем и коробочкой на конце. Красноармеец осторожно вошел в дом, долго там пропадал, а когда вышел на крыльцо, нес в каждой руке по черному железному диску. Он небрежно бросил на землю у крыльца мины и сказал:

«Теперь можно занимать квартиру. А то бы, пожалуй, напились чайку — сразу на всю жизнь...»

Алёнушка тащила огромный, с нее ростом, узел, куклу, зеркало, и дяденька помог ей внести узел в дом, а уходя, угостил сахаром, чтобы не плакала.

— А я все время думала почему-то, что вы старше.

Василий Яковлевич,— сказала Анна Федоровна, пододвигая Вишнякову тарелку с дымящейся картошкой.

— Это я в копоти был и небритый,— объяснил Вишняков поспешно, как бы оправдываясь...

Назавтра Вишняков пошел пройтись вдвоем с Алёнушкой. Ничего в городе не изменилось со вчерашнего дня, но руины уже не так бросались в глаза. Только когда Вишнякову примелькалась картина всеобщей разрухи, он увидел приметы и признаки новой жизни. Эта жизнь пробивалась сквозь тлен, прах и пепел, как молодая трава сквозь щебень.

Судя по дымкам из труб, люди жили в подвалах сожженных домов, а кое-где и в комнатах, которые чудом сохранились в разрушенных домах. Витрины бывших магазинов заделали кирпичом, оставив лишь оконца размером с форточку, и за этими оконцами тоже жили люди.

На необитаемом доме висел почтовый ящик; почтальон подошел к нему и высыпал письма в мешок. Связисты сидели верхом на перекладинах телеграфных столбов и подвешивали провода.

Вишняков вышел на берег Днепра и вспомнил, как он переправлялся через реку в ту сентябрьскую ночь. Отступая, фашисты взорвали мост посредине и подожгли его у обоих берегов. Пламя спускалось по сваям к самой воде. Казалось, кто-то воткнул светильники прямо в реку. Вода внизу была в трепещущих багровых пятнах и, когда огонь касался ее поверхности, тушила сваи. Сваи и стропила моста тоже были багровыми, отсветы пожара тревожно лежали на черной реке, и чудилось, что это струится кровь.

Сейчас при въезде на мост стояла регулировщица, бойкая толстушка с сиреневыми щеками. Поворачиваясь, она щегольски притопывала каблуками на гулком настиле моста и взмахивала желтым флажком так ловко, что Вишняков засмотрелся.

Вишняков с Алёнушкой перешли через мост на ту сторону и потолкались на базаре. Вишняков взял крынку молока и случайно купил у мальчишки большой красно-синий карандаш. На покупки ушла вся солдатская зарплата, но это Вишнякова не смутило: деньги ему не нужны, он даже отвык от них и с удовольствием истратил свои сбережения.

Когда они переходили улицу, Вишняков брал девочку за руку. Машины проходили редко, но ему приятно было держать Алёнушку за доверчивые и нежные пальчики, которые прятались глубоко в рукаве ватника.

Через четыре дня Вишнякова провожали в обратный путь. Анна Федоровна была на уроках, но Люба пропустила занятия в техникуме и пошла проводить гостя до контрольного пункта за городом, где фронтовики поджидают попутные машины.

Алёнушка тоже хотела проводить дяденьку.

— Далеко, устанешь,— сказала Люба.

На контрольном пункте они долго стояли вдвоем, ждали попутной машины, и каждый втайне был очень доволен, что машины этой все нет и нет.

— Адрес наш записали? — спросила Люба.

Вишняков от досады хлопнул себя по лбу:

— Забыл! Найти — найду, а адреса не записал.

Люба испуганно всплеснула руками и сама записала адрес на каком-то клочке бумаги.

— Ну что же, попрощаемся,— сказала Люба, когда долгожданная машина все-таки подошла.— За маму, за Алёнушку, а это за себя!

И они троекратно поцеловались.

Вишняков вспрыгнул на колесо, легко перемахнул через борт. Машина тотчас же тронулась с места, но Люба успела ему вручить сверток. Вишняков уже знал, что это пирожки с капустой. Два пирожка он отложил и отдал их по приезде взводному Чутко.

— Это откуда же такой подарок?

— От родни моей, из Смоленска.

— А я, грешник, и в самом деле думал, что никого у тебя нет. Просто хочет проехаться и выдумывает.

— Сроду не выдумывал, а тут вдруг...

— Ну, прости, если обидел,— сказал Чутко, дожевывая пирожок.

— То-то же,— примирительно сказал Вишняков.

С некоторых пор он стал ждать почтальона с нетерпением, которое раньше было ему незнакомо. Вскоре пришло письмо от Любы, в тот же конверт вложила свой рисунок Алёнушка — красный домик с перекошенными окнами, которые упираются под самую крышу; невероятно синий дым валил из красной трубы.

— А это чья же работа? — полюбопытствовал Чутко, засматривая Вишнякову через плечо.

— Дочка моя, Алёнушка, прислала.

— А я и не знал, что дочка у тебя имеется в наличии. Сколько же ей?

— Семь.

— Скажи пожалуйста! Вот не думал, что такая дочь у тебя взрослая. Хотя я, грешник, тоже рано женился...

Вишняков бережно хранит бумажку, на которой Люба записала адрес. Правда, бумажка эта совсем истрепалась, так что на ней нельзя разобрать ни названия улицы, ни номера дома. Но какое это имеет значение, если Вишняков помнит адрес наизусть и хорошо знает, где эта улица, где этот маленький дом у раскидистой ветлы, родной дом, в котором теперь очень часто по милым шатким половицам неслышными шагами бродит его солдатская мечта о семье и о счастье...

1944

ЗЕЛЕНЫЕ РАКЕТЫ

Туман навалился на лес сырой тяжестью, и деревья стояли, лишенные отчетливых линий, как за матовым стеклом.

Прибылов шел, внимательно всматриваясь в туман, высоко поднимая ноги, чтобы не шуршать опавшим листом.

Туман этот был одновременно его сообщником и неприятелем: он укрывал от чужих глаз, но он же едва не предал Прибылова, оказавшегося вдруг у самых немецких блиндажей на опушке. Прибылов попятился, обошел блиндажи стороной и углубился в лес.

Шел он быстро, но часто останавливался, прислушивался: в лесу стояла все та же тишина, ее нарушал только шелест листопада.

Лесные прогалины заросли высокой, по-осеннему ломкой травой. Она стояла в обильной росе, так что колени у Прибылова стали совсем мокрые. Хорошо бы сейчас

накинуть плащ-палатку, но, мокрая, она будет шуршать о траву, кусты, сучья; вот почему он ушел в ватнике.

Прибылов подумал о плащ-палатке и вспомнил все события вчерашнего дня.

Он сидел в землянке и правил бритву, когда его вызвали к командиру. Побриться так и не пришлось. Вдвоем с командиром роты, молчаливым более обычного, они прошли в генеральский блиндаж.

Приема у генерала ждали два полковника, но адъютант сразу доложил о приходе разведчиков.

Когда генерал здоровался с Прибыловым, он слегка задержал его руку в своей тяжелой, жесткой руке и внимательно вгляделся в его лицо.

— Совсем молодой,— сказал генерал не то с удивлением, не то желая похвалить.

Прибылову понравилось, что генерал подробно рассказал о боевой обстановке, многое ему доверяет, и от одного этого Прибылов пришел в приподнятое настроение.

Ему понравилось также, что генерал-лейтенант разговаривал с ним, лейтенантом, как с равным, уверенный в его опыте и сообразительности — будто за картой сидели два командарма,— и не прерывал разговора колючими вопросами: «Понятно?»

Речь шла об успехе наступления на этом участке фронта. Гитлеровцы, опасаясь прорыва, стянули сотни орудий. Свирепая распутица остановила подвоз боеприпасов, и оба большака потеряли свое значение. В распоряжении немцев оставалась железнодорожная ветка, ведущая от рокадной магистрали к станции Хвойная.

Завтра ночью партизаны подорвут мост. Прибылову следует позаботиться об эшелонах, которые успеют пройти по мосту до трех часов ночи.

Нужно пробраться через линию фронта, пройти лесом до железной дороги, проникнуть на станцию.

Фашисты боятся наших штурмовиков, а

потому подают и разгружают эшелоны ночью. Нужно дождаться на станции эшелона и пустить две ракеты.

Две зеленые ракеты — вот все, что от него, лейтенанта Прибылова, Бориса Петровича, требуется. Сигналы перехватят артиллеристы-наблюдатели, со вчерашней ночи живущие в лесу южнее Хвойной. Данные для стрельбы готовы, а каких-нибудь девять километров — не помеха для дальнобойных батарей. Артиллеристы накроют эшелон раньше, чем фашисты успеют его разгрузить.

Когда вопросы иссякли и все стало ясно, генерал положил Прибылову руки на плечи и сказал, глядя ему прямо в глаза:

— Вы сами понимаете, на что идете. Но я вам приказываю...— генерал повысил голос, как бы подчеркнув это слово,— ...приказываю вернуться живым!

На прощанье генерал спросил:

— Холостой?

— Женат,— ответил Прибылов и смутился.

Он понял, что не этот ответ хотел услышать от него генерал...

Ночью Прибылова должны были переправить через линию фронта. Сперва казалось, что не хватит времени на все дела, но сборы прошли быстро, и наступили часы вынужденного безделья. Время тянулось бесконечно: и не спится, и есть неохота.

Прибылов вызубрил маршрут наизусть. Вглядится в карту, закроет ее рукой и рисует на память. Его особенно интересовали дороги: не потому, что он собирался по ним ходить, но потому, что вынужден их избегать.

Разведчики ни о чем не расспрашивали, но понимали, что Прибылов отправляется на рисковое дело: беседовал с генералом, шоколаду три плитки выдали на дорогу.

Ночью Волобуев, Гаркуша и разведчик Шуйский, по прозвищу «Боярин», проводили Прибылова через линию фронта.

Он простился с товарищами в темноте, не видя их лиц. Гаркуша сказал что-то с деланной веселостью, чего Прибылов даже не запомнил, Шуйский, по обыкновению, промолчал, а Волобуев сказал значительно и строго:

— Главное — о смерти не думай. Думай о жизни...

О многом думал Прибылов, осторожно пробираясь по лесу, но мысли были какие-то растрепанные, невеселые.

Он вспомнил, что не оставил Шуйскому обещанных кремней для зажигалки и тащит их сейчас зачем-то в кармане гимнастерки; что не ответил на последнее Наташино письмо; что зря не попрощался с ребятами из соседней землянки.

Потом внимание его привлекла почему-то осина. Все деревья поблизости стояли обнаженные, а эта все еще трепетала желтыми листьями, будто дрожала от холода. Интересно бы приметить место, сделать зарубку на стволе дерева, наведаться сюда через год и посмотреть, как осина будет вести себя будущей осенью: сбросит листву вместе со всеми или опять заупрямится.

«Будущей осенью! — горько усмехнулся Прибылов.— Сообразил тоже! Загадывать на год вперед, а до смерти четыре шага... Самое глупое — попасться сейчас, когда еще ничего не сделано. После дела — куда ни шло. Но сейчас...»

Он снова остановился, прислушался: только шелест умерших листьев и птичий гомон на верхушках деревьев, уже освещенных солнцем... Туман, процеженный сквозь лесную чащу, растворился. Прибылов стал лучше видеть, но и его самого можно теперь заметить издали.

Весь день Прибылов шел по лесу в обход станции Хвойная. Он правильно рассудил, что с запада подойти будет легче. Дальше от линии фронта — меньше патрулей, опасных встреч.

В предвечерний час он вышел к железнодорожному полотну.

Переходить через насыпь было рискованно, тем более что вдали справа виднелся семафор, поднявший железную руку,— очевидно, какой-то разъезд.

Прибылов пошел вдоль кромки леса. Не доходя до разъезда, он залег за штабелем противоснежных щитов и решил дождаться темноты.

Он лежал, вдыхая запахи железной дороги. Ему не раз довелось видеть на фронте железную дорогу. Но то были ржавые рельсы, давно забывшие прикосновение колес, рельсы, едва видимые за травой, которая безнаказанно росла на щебенке и чуть ли не на шпалах.

Человек на войне привык к противному запаху гари и научился различать все его оттенки — от горелого тряпья и головешек до горелого мяса. Но паровозная гарь — необычного сорта. Смешанный запах каменноугольной смолы и нагретых букс — это мирные запахи, давно забытые, подобно аромату свежевыпеченного хлеба или назойливому душку нафталина.

Прибылов дотемна пролежал за штабелем. Он не раз пригубил фляжку и основательно — второй раз за день — закусил, не очень-то считаясь с тем, что съел больше суточного пайка.

«Мало ли что на трое суток! — подумал он, как бы возражая старшине роты.— Ты попробуй сперва проживи эти трое суток! А умирать на голодный желудок я не согласен...»

Далекое дыхание поезда заставило насторожиться. Послышался нарастающий гул, ему отозвались гудением рельсы.

Паровоз шел с прищуренными фонарями. Не доезжая семафора — он скорее угадывался, чем виднелся в предвечернем сумраке,— машинист начал тормозить, и под вагонами в неверном свете искр стали видны колеса.

Грохочущий состав поравнялся с Прибыловым. Вагоны двигались медленно, тяжело подрагивая на стыках. Состав тащили два паровоза, шедшие один в затылок другому. Лишь несколько цистерн различил Прибылов на фоне темного неба. Все остальные вагоны — крытые, частью большегрузные. Сомнений не оставалось: снаряды.

«Пусть себе идут,—решил Прибылов с облегчением.— Полежу полчаса, а потом дам ракеты вслед поезду. Куда он денется? И вовсе не нужно вылезать отсюда, из-за щитов, и идти на станцию. Не станут же разгружать снаряды в чистом поле!»

И до того соблазнительным и логичным показался этот план, что Прибылов готов был загодя вытащить из-за пазухи ракетницу. Но еще раньше он успел понять, что просто-напросто струсил и теперь ищет для себя оправданий.

Между тем он чувствовал, что именно сейчас, когда вагоны движутся мимо него, решается успех всего дела и он должен что-то предпринять.

Патрулей Прибылов не видел, но можно было думать, что они торчат на всех тормозных площадках. Он принялся было считать вагоны, но сбился со счета и внезапно подумал: «А что, если подъехать до Хвойной?»

Прибылов устал, и ему очень не хотелось брести дальше пешком. Кроме того, поездка избавляла от поисков станции в темноте. А самое важное — он может опоздать. Немцы выгрузят, развезут снаряды и оставят его в дураках. Вряд ли Прибылов успел взвесить все «за» и «против», скорее всего, он принял решение, повинуясь чутью разведчика.

«Двум смертям не бывать,— успел он подумать,— а от одной вряд ли отвертеться. Только чтобы не по-глупому, не раньше времени....»

Он рванулся к движущейся стене вагонов, ухватился за ускользающие поручни, в два прыжка вскочил на тормозную площадку и тотчас же наткнулся на часового. Тот сидел на скамеечке сгорбившись, засунув руки в рукава, зажав карабин между коленями. Прибылов не дал ему встать и умело использовал оба свои преимущества — внезапность и свободу движений, присущую человеку, который твердо стоит на ногах. Он выхватил карабин и обрушил его кованым прикладом на голову фашиста. Тот был без каски, и участь его решилась мгновенно.

За ступеньками — откос, и не слышно ничего, кроме перестука колес и натужного скрипа буферов...

Оставшись на площадке один, Прибылов унял сердцебиение, закутался в чужой плащ, подобранный на полу, и уселся в той же позе, упершись коленями в борт тормозной площадки. Чувствовал он себя уверенно и был сейчас обеспокоен поездкой не больше, чем в детстве, когда ездил «зайцем» на дачном поезде.

Эшелон осторожно миновал несколько стрелок, машинист начал тормозить, и Прибылов понял, что попал на Хвойную. Он соскочил с подножки, отполз в сторону и спрятался под вагоном, одиноко стоящим на соседнем пути.

Хорошо бы выяснить, есть ли еще груженые составы, но разгуливать сейчас по станции опасно, тем более что охрана в любую минуту может хватиться исчезнувшего часового и забить тревогу.

Прибылову не терпелось подать сигнал и бежать обратно в лес. Но может прийти еще эшелон, и обидно, если он уцелеет.

На станции было тихо, только вдали попыхивали паровозы, будто хотели отдышаться после бега. Кто-то прошел с фонарем вдоль состава, и опять тишина...

Лежа под вагоном, он еще раз с удовольствием ощупал заряженную ракетницу, лежащую за пазухой. Никто теперь не помешает ему выполнить приказ, и, что бы ни ждало его дальше, он даст две зеленые ракеты и вызовет на себя огонь.

«Интересно знать, как обо мне сообщат Наташе: «Пропал без вести» или «Пал смертью храбрых»?» — горько подумал он и опять вспомнил, что перед уходом не ответил на последнее ее письмо. Боялся, что ответ будет натянутым: сообщать об опасном задании не хотелось, чтобы письмо не выглядело прощальным.

«Когда я сажусь ужинать,— писала Наташа,— то ставлю на стол две тарелки, две чашки. Ты не сердись на меня, я стала совсем глупенькая от любви к тебе и одиночества. Мне все кажется, что вот откроется дверь и ты войдешь, как всегда веселый, шумный, проголодавшийся, и сразу же сядешь ужинать».

Прибылов поежился, глубже засунул руки в рукава ватника. Ему было сладко думать, что Наташа спит сейчас в теплой постели — ей ничто не угрожает, в комнате тихо, только прилежно тикают часики. Ложась спать, она любит класть эти часики под подушку. Кстати, который час теперь?

Светящиеся стрелки показали половину третьего. Прибылов долго вслушивался в ночь. Тишина. Он уже отчаялся что-нибудь услышать, как издали донесся глухой гром взрыва.

— Был мост, и нет моста! — радостно подумал он вслух.

Хорошо бы подать сигнал, но, может, еще один эшелон успел пройти через мост и сейчас где-нибудь в пути?

Около четырех часов утра Прибылов выполз из-под вагона и посмотрел на небо. Рассвет еще не коснулся неба, но звезды потускнели. Дальше ждать опасно: сигнал будет плохо виден.

Поездов больше не было, где-то вдали слышался едва различимый шум моторов: по дороге шла автоколонна. Может быть, за снарядами?

Он вынул ракетницу и поднял ее над головой. Не сразу удалось унять дрожь руки — волнуется или продрог? Прибылов затаил дыхание, совсем как при стрельбе в цель. Уж не собирается ли он попасть ракетой в ковш Большой Медведицы?

Две ракеты одна за другой поднялись в небо с зеленым шипением, и стоявшие рядом товарные вагоны окрасились на несколько секунд в цвет классных.

Тревога прокатилась по станционным путям, треща одиночными выстрелами и очередями. Пронзительно залился кондукторский свисток. Паровозы переговаривались между собой испуганными гудками.

«Самое глупое было бы попасться сейчас, когда все сделано,— лихорадочно подумал Прибылов. Он юркнул обратно под вагон, выскочил с другой стороны и пустился наутек подальше от эшелона. Он дрожал, хотя не чувствовал ни холода, ни страха.— Ведь самое трудное позади, самое трудное! Неужели не отвертеться?»

Впереди показались какие-то едва различимые станционные постройки и черный профиль водокачки.

Куда бежать? Где найти лазейку в колючей проволоке, которой, как он знал, оцеплена вся территория станции?

Прибылов остановился, чтобы перевести дыхание, собраться с мыслями, но тут его внимание привлек странный, нарастающий свист. Он не успел сообразить, в чем дело, как уже ударило вблизи желто-лиловое пламя. Звук разрыва был неожиданным, как грохот поезда, который грубо рванул с места машинист. Не успел улечься разноголосый посвист осколков, как ударил второй снаряд, третий, четвертый...

— Давай, давай! — заорал Прибылов в радостном исступлении, забыв о всякой осторожности.

Словно он стоял на батарее рядом с орудием и номера расчета слышали его срывающийся голос.

Сейчас в этой смертельной кутерьме легче было улизнуть от неминуемой облавы, и он побежал дальше, припадая к земле, когда свист снаряда переходил в зловещий шелест, предвестник близкого разрыва.

Очевидно, на далеких батареях знали свое дело, а батарей этих было немало, потому что над всей станцией бушевал огонь. Один снаряд ударил в водокачку так, что отлетела кирпичная макушка.

Прибылов понял, что опоздал: не мог человек пройти невредимым сквозь такой огонь.

«Эх, не думал, что придется лечь от своего осколка!.. Самое обидное! В бою — куда ни шло, но так...»

Где-то впереди низко над землей заметался огонек. Он шарахался из стороны в сторону, описывая одну и ту же дугу: кто-то бежал с фонарем в руке.

Прибылов бросился вдогонку за незнакомцем. Тот, конечно, не станет сейчас приглядываться, не до того, а бежать в компании — безопаснее.

Человек с фонарем пробежал мимо будки стрелочника, перепрыгнул через шпалы и нырнул куда-то в подземелье.

Прибылов постоял какую-то долю секунды на верхней ступеньке, всматриваясь в полоску света под дверью, внизу. Он провел пальцами по пилотке, убедился, что она повернута звездочкой на затылок, еще плотнее, на самые глаза, натянул капюшон плаща, спрятал гранату за отворотом ватника, решительно сбежал по ступенькам и открыл дверь.

Погребок обдал его затхлым теплом. Кондукторский фонарь на полу подпрыгивал при каждом разрыве. Вокруг фонаря сидело на корточках несколько человек, очевидно железнодорожники. Они сидели с раскрытыми ртами, как рыбы, вытащенные на берег.

Появление нового человека ни у кого не вызвало интереса. Один из сидевших на полу спросил его что-то по-немецки, но Прибылов только махнул рукой, ничего не ответил, и немец этому не удивился. Прибылов сел на пол, сжал голову руками и легко мог сойти за человека невменяемого, ошалевшего, контуженного.

«А в землянке у нас сейчас тепло, уютно! — подумал Прибылов с тоской.— Ребята, наверное, спят, а может, Гаркуша и Волобуев опять затеяли спор о том, что вкуснее: галушки или пельмени?»

Каждый пытался привлечь лейтенанта на свою сторону, но Прибылов придерживался строгого нейтралитета, и спорщики порешили на том, что после войны он

обязательно приедет сперва на Полтавщину, в гости к Гаркуше, а потом на Урал, в таежную Чердынь, к Волобуеву, для того чтобы решить затянувшийся спор о галушках и пельменях.

«Хорошо бы дожить до конца войны! — замечтался Прибылов.— Самому увидеть с улицы свое освещенное окно на третьем этаже. Прожить три дня после мира, а потом и умереть... Нет, тогда умирать и вовсе не захочется. Столько отмучиться — и три дня! Когда так хочется жить!...»

Погребок ходил ходуном при каждом разрыве, фонарь мигал, потом его подбросило взрывной волной, и он потух.

Прибылов поднялся наверх, и зарево пожара встретило его. Эшелон горел сразу в нескольких местах. Станционные постройки тоже были охвачены огнем. Снаряды рвались пачками — очевидно, ящиками. Несколько цистерн с горючим разорвало в клочья. Они оказались очень кстати, эти цистерны, будто кто-то прицепил их специально для растопки.

Крики доносились откуда-то издали — никто не рискнул тушить это стреляющее пламя.

Обстрел прекратился так же внезапно, как начался, и Прибылов, не мешкая, зашагал прочь от горящей станции к лесу, черневшему поодаль.

Он благополучно перелез, никем не замеченный, через колючий забор и скрылся в предрассветном лесу.

Прибылов шел с опаской, часто останавливался, прислушивался.

«Самое глупое было бы нарваться на фашистов сейчас, когда все вышло так удачно и просто».

Ощущение счастья овладело всем его существом. Какое блаженство сознавать, что долг выполнен и самое опасное, тяжелое — позади!

У Прибылова было такое чувство, будто он всю дорогу тащил что-то очень тяжелое, вроде плиты миномета, и только сейчас освободился от ноши. Он и в самом деле с наслаждением повел сильными плечами, как бы желая убедиться, что ничто не стесняет его движений, не мешает жить.

И мысли сейчас всё шли какие-то легкие, веселые. Он весело подумал, что хорошо бы завтра вечером под-

бить двух дружков на нескончаемый спор о галушках и пельменях, что, наверно, от Наташи пришло и ждет его новое письмо и что его, скорее всего, снова наградят орденом.

Он уже ясно представлял себе, как стоит и рапортует генералу о том, что приказ выполнен по всем статьям.

Впрочем, откуда он взял, что генерал обязательно вызовет его? Нет у генерала других, более важных дел...

Вечером Прибылов увидел впереди, на лесной прогалине, костер. Пламя казалось при лунном свете оранжево-рыжим, почти багровым. Он шел на огонь, а потому не боялся, что у далекого костра заметят его.

Прибылов приблизился и увидел, что забрел на огневую позицию немецких шестиствольных минометов. Он хотел попятиться в чащу, чтобы обойти батарею, но какая-то упрямая сила удержала его на месте. Он стоял за стволом рослой березы и с недобрым интересом следил за слаженными действиями номеров ближнего к нему расчета.

Отчетливо доносилась лающая команда «фойер», затем все заглушал противный, раскатистый вой шестиствольных минометов.

Сердце все больше наполняла душная злоба. Прибылов ненавидел сейчас фашистов больше чем когда бы то ни было. И за то, что они разгуливают по этой вот лесной поляне не хоронясь, а он должен ходить с опаской,— это показалось ему сейчас особенно унизительным. И за то, что фашисты чувствуют себя в безопасности, а он вот уже двое суток должен жить на родной земле без сна, без отдыха и каждую минуту бояться за жизнь. И за то, что они нахально развели костер, а он стоит продрогший, с мокрыми коленями и только слышит, как потрескивает в огне сухой валежник.

Но больше всего Прибылов ненавидел в тот момент фашистов за то, что они причинили ему столько страданий вчера вечером, когда он лежал за штабелем у насыпи. Он вновь устыдился своего минутного малодушия.

«Выполнил задание без единого выстрела и обрадовался! Домой, видите ли, торопится. Некогда ему! — с раздражением подумал он, словно речь шла о ком-то

постороннем.— Носит гранату без толку взад-вперед. И откуда только взялась такая манера?

Конечно, убраться из этого леса подобру-поздорову было бы неплохо. Умирать кому же охота, тем более в одиночку, когда и оружие за тобой подобрать некому. Но и жить хочется не краснея...»

Прибылов осторожно начал подкрадываться к огневой позиции минометчиков. Он дождался очередного выкрика «фойер», с силой швырнул гранату и ничком упал на землю.

Граната разорвалась как раз между двумя минометами, и Прибылов не сомневался, что оба они выведены из строя, а расчеты сильно поредели.

Он мог быстро скрыться в березовой роще, но фашисты, мечущиеся при дрожащем свете костра, были слишком заманчивой мишенью.

Перебегая от ствола к стволу, Прибылов расстрелял всю обойму, прежде чем бросился в глубь леса. Пальба долго не утихала, но разве можно достать пулей человека, бегущего в густом лесу! Березы все вместе образовали непробиваемый забор.

Луна освещала березы мертвенным светом, и кора их была сейчас белее, чем днем.

Листья падали, как хлопья снега, и земля, устланная ими, тоже была белой, словно Прибылов бежал по пороше.

Он вышел к знакомой «калитке» в нашем минном поле еще до рассвета. Шел не спеша и старался лучше приметить дорогу к минометной батарее, потому что решил на днях снова отпроситься сюда в разведку.

Когда часовой из боевого охранения окликнул Прибылова, он ответил каким-то чужим, незнакомым ему самому голосом и был удивлен, что часовой сразу узнал его.

Прибылов был готов поверить тому, что за эти двое суток изменился до неузнаваемости, вплоть до голоса, походки, всех своих вкусов и привычек.

Только его любовь к жизни оставалась неизменной.

1943

УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ В ГОРОД

1

Не успели отрыть окоп на заданную глубину, а Нечипайло уже отлучился под каким-то благовидным предлогом. Ему не терпелось провести «рекогносцировку на местности». На той стороне шоссе приглянулся дом с резными наличниками на окнах, с покосившимся крыльцом.

Нечипайло громко постучался и, не дожидаясь ответа, открыл дверь.

Позже на скрипучее крыльцо поднялись и вошли в дом еще несколько номеров его расчета. Нечипайло уже сидел за столом, скинув шинель, и вел себя непринужденно, как жданный гость.

Артиллеристы, входя, нерешительно топтались у порога. Слышалось обязательное в таких случаях хозяйское «в ногах правды нет», каждый церемонно здоровался, покашливал, поправлял ремень, но в конце концов проходил вперед и подсаживался к столу. Лишь Суматохин вошел безгласно. Он сел в углу и принялся внимательно слушать радиопередачу про уборку хлопка.

— Вы с нашим Суматохиным не знакомы? — Нечипайло повернулся к хозяйской дочке; та сидела на кровати, потому что все стулья и табуретки были заняты.

Она отрицательно покачала головой.

— Суматохин у нас бо-о-ольшую военную карьеру сделал. Еще недавно был самый последний номер в рас-

чете, по-нашему выразиться — третий ящичный. А недавно Суматохина выдвинули,— Нечипайло почтительно выдержал паузу,— во вторые ящичные...

Все рассмеялись, а Суматохин лениво улыбнулся.

Нечипайло уже успел выспросить у хозяина всё-всё. Зовут Пал Палыч, сын в армии, сам до последнего времени работал по соседству в Тимирязевской академии, знавал даже академиков, например Вильямса. Зимой Пал Палыч хлопотал истопником, а с наступлением тепла, когда котельную гасили, копался на опытных участках академии.

Пал Палыч смотрел не слишком приветливо. И не в том дело, что незваные гости мешали или его раздражала самоуверенная болтовня Нечипайло. Пал Палыч был раздосадован — больше того, рассержен тем, что артиллеристы установили здесь свои пушки и спилили несколько высокорослых тополей напротив дома, сразу за оврагом.

Он и не скрывал перед постояльцами, что характер у него сварливый. Его возмущал сам факт, что пушки, хотя и дальнобойные, установлены на окраине Москвы. Конечно, с солдата нельзя спрашивать, как с генерала. Но все ли солдаты отдают себе отчет в том, где нынче воюют? Пал Палыч так разволновался, что на его острых скулах выступили красные пятна.

Во время разговора в дом вошел телефонист Федосеев. Ну теснота, набились прямо как на вокзале! Сизое махорочное облако наподобие дымовой завесы — и хозяев не видать.

Федосеев нерешительно потоптался в дверях и собрался уходить, но хозяйская дочь пригласила его раздеться. Вот и чайник скоро поспеет... Она кивнула на плиту, где стоял большой медный чайник, надраенный до слепящего блеска.

— Какой может быть чай, когда посуда нужна совсем для другой жидкости!

Пал Палыч уже отсердился, он достал бутылку и вручил ее Нечипайло.

Анастасия Васильевна и ее дочь, которую Нечипайло уже фамильярно называл Грунечкой, мобилизовали все сосуды.

Нечипайло все подмигивал симпатичной Груне сво-

ими нагловатыми голубыми глазами, поглаживал себя по голой голове, будто поправляя несуществующую прическу, и молодое лицо его никак не сочеталось с преждевременной лысиной.

Анастасия Васильевна поставила на стол миску с квашеной капустой, холодную картошку в кожуре, пузырек подсолнечного масла.

От рюмки она отказываться не стала и пояснила Нечипайло, что употребляет водочку с лечебной целью:

— Привязалась какая-то гипертоническая болезнь. Доктора обнаружили давление в крови.

Рюмку поставили и перед Груней, но она отодвинула ее.

— Может, вас, Грунечка, компания не устраивает?— обиделся Нечипайло.

— Просто не имею права. Обязалась вести нормальный образ жизни.

Она сдержанно рассмеялась, поправила пучок светлых волос и поглядела на Федосеева; у нее были совсем темные, чуть раскосые глаза.

Груня достала из сумки бумажку, но вместо Нечипайло почему-то протянула ее Федосееву, сидевшему напротив.

— «Расписка,— читал вслух Федосеев.— Я, нижеподписавшаяся, добровольно вступая в кадры доноров Московского института переливания крови, даю настоящую расписку в том, что обязуюсь аккуратно выполнять свои донорские обязанности и вести нормальный образ жизни...»

Пал Палыч громогласно выразил неудовольствие по поводу того, что Груня записалась в доноры — тем более дополнительного пайка ей за это еще ни разу не выдали. А если привяжется малокровие? Она и так худенькая. И ездить отсюда в центр города, к черту на кулички...

— А я вот никогда в Москве не был,— признался Федосеев, пожав массивными плечами.— Эшелон кружился-кружился весь день по Окружной дороге...

— Зачем день? Ночью выгрузили. Станция Сортировочная,— уточнил Квантарадзе, по прозвищу «Сибиряк»; он самый зябкий на батарее и уселся поближе к плите.— Легче на Эльбрус забраться, чем в Москву.

Пал Палыч не понял, при чем здесь Эльбрус, он был

поглощен мыслями о Груне, которая своевольничает и ездит в этот самый институт переливания. А долго ли сейчас угадать в Москве под бомбежку? Разве радио предупреждает о каждом налете? Случалось и так: фашист уже сбросил бомбы, а воздушную тревогу еще не объявили. Пал Палыч ведет учет всем воздушным тревогам, начиная с самой первой, двадцать второго июля, и радиоточку теперь никогда не выключает. Особенно много нервов он истратил семнадцатого и девятнадцатого ноября — объявляли по шесть тревог.

— Кто тебя не знает, подумает, ты и в самом деле такой,— сделала Груня отцу замечание и покраснела, а поняв, что покраснела, опустила голову.— А я не только в доноры, я и в медсестры пойду. В Тимирязевке большой госпиталь раскинулся. И номер узнала в политотделе. Двадцать три восемьдесят шесть.

— Чем в том госпитале горшки выносить, лучше к нам в артиллерию,— встрял в разговор Нечипайло.— Мы все-таки боги войны!

— Не боги горшки обжигают,— невпопад напомнил поговорку Суматохин.

Нечипайло расхохотался, со словами «Вот дает!» сильно стукнул по спине флегматичного Суматохина.

— А меня возьмут в артиллерию? — спросила Груня и поглядела в глаза Федосееву.

Тот беспомощно развел большими сильными руками.

— Зачем не возьмут? Медперсонал требуется. Кто остался после Соловьевской переправы? — Кавтарадзе говорил медленно, с трудом подбирая русские слова.— Фельдшер Гуревич и Шура Окунева, санинструктор. Ой, смелая барышня! Так что...

— Будете у нас, Грунечка, богиней войны! — Нечипайло пригладил отсутствующие волосы.

Пал Палыч язвительно поблагодарил Нечипайло за придумку насчет дочери и поднялся из-за стола, свирепо отодвинув табуретку. Он долго ворчал, с Груней не разговаривал, даже не смотрел в ее сторону...

2

Кто бы мог подумать, что на рассвете артиллеристов подымут по тревоге и что на этот раз тревога окажется действительно боевой?

После нескольких пристрелочных выстрелов из первого орудия весь дивизион открыл огонь. Тяжелые 152-миллиметровые орудия стреляли чуть ли не на предельной дальности. Телефонист Федосеев первый узнал, что они ведут огонь по противнику, занявшему Красную Поляну, по автоколонне немцев, втянувшейся в Пучки, по южной околице деревни Катюшки, которая на полтора километра ближе Красной Поляны, по железнодорожному переезду на станции Лобня и по другим целям.

Номера расчетов действовали сноровисто. Только Суматохин двигался вяло, работал неторопливо. И сейчас на его лице не было написано ничего, кроме того, что его разбудили раньше времени. Но товарищи по расчету относились к нему снисходительно, потому что и под огнем, в минуты отчаянные, Суматохин не изменял своей неторопливой манере двигаться, соображать, отвечать и тем самым нечаянно ободрял окружающих. Осколки свистят, а ему и пригнуться лень.

Нечипайло, напротив, суетился на огневой позиции, без умолку болтал. Как всегда в минуты большого напряжения, он любил слышать свой голос. Левой рукой вращал поворотный механизм и при этом приговаривал:

— Это для фрица-убийцы, это для фрица-кровопийцы, это на помин офицерской души, а это — еще кой-кого оглуши!..

Через десяток минут Кавтарадзе уже грел руки о ствол своего орудия. Видно было, как над стволом струится горячий воздух.

При каждом выстреле все широко раскрывали рты — не так больно бьет в уши. Земля успела основательно промерзнуть, отчего еще больше сотрясалась при каждом выстреле.

А когда повели беглый огонь всем дивизионом, сразу из шести стволов, в ближних домах вылетели стекла, а кое-где сорвало с петель, с задвижек оконные переплеты и двери.

Федосеев все посматривал на покосившееся крыльцо.

После очередного залпа он увидел, как на доме, уже потерявшем стекла, зашевелилась труба — кирпичи начали осыпаться и съезжать по скатам заснеженной крыши.

А сегодня, как на грех, собрался с силенками мороз, все-таки декабрь на носу, и перепуганные жители, поднятые ни свет ни заря, изрядно оглушенные, затыкали выбитые стекла одеялами, подушками, охапками сена, наволочками, набитыми всяким тряпьем. Федосеев смущенно поглядывал на дом: ему казалось, и крыльцо скособочилось сильнее и крыша надета набекрень.

Когда Федосеева сменили у полевого телефона, он, потирая ухо, онемевшее от трубки, зашагал к пострадавшему дому.

Пал Палыч сколачивал из фанеры и досок какое-то подобие ставней. Нарядные резные наличники бросаются в глаза, когда окна без стекол. Федосеев ждал, что сейчас Пал Палыч начнет его ругмя ругать. Тем неожиданнее для себя он услышал:

— Стекло — дело поправимое. Бейте немца громче, только отгоните прочь! Чтобы Гитлер насмерть заблудился в снегу...

Федосеев вызвался помочь с ремонтом; какой же уралец боится пилы и топора? Но Пал Палыч отказался — сам управится.

Анастасия Васильевна, повязанная теплым платком, хлопотала у плиты, а Груня сидела за столом в шубенке и что-то писала, дуя на пальцы. Плита дымила, и Груня сильно щурилась, отчего в ее темных, удлиненных глазах появилось что-то монгольское. На плите стоял тот самый медный чайник, но уже закопченный до черноты.

— Если вы пришли греться...— начала Груня.

— Пришел померзнуть вместе с вами.

— Вечером угощу оладьями,— подала голос от плиты Анастасия Васильевна.— Сберегла немного муки к Новому году, да уж ладно...

Он хотел сказать что-то сочувственное по поводу выбитых стекол и прочих убытков, но не нашелся и промолчал.

— Кстати явились,— улыбнулась Груня.— Понесете чайник.

Это была затея матери—вскипятить чайник, заварить

чай и отнести пушкарям на позицию. Прислуга находилась безотлучно при орудиях, а согреваться нечем и негде. Когда шел снежок, разрешалось жечь костры, а сегодня погода летная, костры погасили.

Федосеев нес чайник, а Груня, обходя расчеты, повторяла:

— Кто хочет горячего чаю? Угощайтесь. Извините, без сахара...

Одним из первых подставил свою объемистую кружку Нечипайло.

— Без сахара? Рядом с такой барышней хорош чай и вприглядку.— Нечипайло уже доставал сахар.— Как говорится, ешь — потей, работай — мерзни.

Как только Нечипайло увидел Груню, он запел песенку Груни из кинокартины «Вратарь республики».

Нечипайло сидел возле чадящих головешек, аппетитно грыз кусок рафинада, прихлебывал чай, Груню называл Грунечкой, но ему и в голову не приходило осведомиться, как она с родителями живет сегодня и как они думают жить завтра в открытом всем ветрам, выстуженном доме. Нечипайло допил кружку, сказал: «Ну, я отчаялся», и занялся своими делами. Настроение поднялось, и он принялся напевать:

Я могилу фрицу копал,
Но его зарыть нелегко.
Долго я томился и страдал,
Помоги же мне, Сулико.

Когда до Кавтарадзе доносились звуки родной песни в такой редакции, он, не полагаясь на башлык, повязанный поверх ушанки, затыкал себе уши, как в минуту залпа всего дивизиона. На нем башлык пастуха из Сванетии, но Кавтарадзе в постоянных спорах со старшиной батареи («по уставу не положено!») выдавал башлык за форменный, кавалерийский.

Дивизион отстрелялся, прозвучал отбой. Номерам расчетов разрешили отлучиться с огневой позиции, погреться где-нибудь по соседству. Федосеев принял даже на этот счет телефонограмму из штаба: «Наступившие морозы могут привести к обморожению конечностей у личного состава... Сократить время пребывания на наружных постах...»

Конечно, первый, кто устроил себе «перекур с дремотой», кто исчез с огневой позиции и кто, по выражению командира батареи, оказался «вне поля зрения», был Нечипайло. Командир увидел только спину наводчика и бросил вдогонку:

— Вот пенкоед!

Нечипайло уже подходил к целехонькому домику с зелеными ставнями на дальнем краю оврага.

А Федосеев забежал к Груне, чтобы сообщить — отправляют с боевым поручением.

— Сказали — на два дня. Так что послезавтра увидимся.

Его серые глаза смотрели почти весело.

— Вот и хорошо,— в тон ему откликнулась Груня.— А не успеете — в субботу. А еще задержитесь — в воскресенье. Это же совсем скоро!

— Совсем скоро.— Он беспомощно улыбнулся.

Поддакнул вот, а сам огорчился: «Как же это? До воскресенья еще четыре дня, целая вечность». Он готов был обидеться,— не понял, что еще раньше, когда так весело начал прощаться, обиделась Груня и потому притворилась беззаботной.

Федосеев получил ответственное задание. Он с Шарафутдиновым, из новеньких, пройдет по линии связи, и провод приведет их на передовую, к лейтенанту Воейкову. Если шагать напрямки — километров семнадцать, семнадцать с половиной, не больше.

Федосееву очень нравился этот Артемий Воейков, долговязый, веснушчатый, рыжеватый, со слегка вихляющей походкой. От него всегда можно узнать что-нибудь интересное; он и стихов знает столько, что на всю зимнюю ночь хватает. Замполит говорил, что вовсе не все стихи чужие, он и свои декламирует... И в математике лейтенант силен, как главный бухгалтер...

Сидеть с таким разведчиком на самой что ни на есть передовой, в боевом охранении, обеспечивать связь «Оленя» с батареей, бегать, ползать вдоль провода, искать обрывы, сращивать концы, когда воздуха за огнем не видно...

Однако ни через два дня, ни в субботу, ни в воскресенье Федосеев на батарее не появился; не было его и через неделю.

Груня уличила себя в том, что весь день поджидает его. Она отправилась на батарею к тому бойкому артиллеристу, лысому, с красивыми нахальными глазами, который любит частушки и песенки. Может, у него можно узнать про Севу Федосеева?

Поначалу Нечипайло не удержался и снова затянул песню Груни из картины «Вратарь республики».

— Что, барышня? Много горя и страданья сердце терпит невзначай?

Но, увидев выражение лица Груни, Нечипайло перестал озоровать и сообщил, что Федосеев дежурит на самой передовой, где убило двух линейных надсмотрщиков, а от линии связи остались ошметки.

3

В воронке, присыпанной черным снегом, где остро пахнет обожженной землей и горелым порохом, сидят двое — коренной москвич и парень с Урала: наблюдатель и его телефонист. Справа от них, в мелких окопах и воронках,— пехота, боевое охранение. Лейтенант Воейков корректирует отсюда огонь и поэтому неразлучен со стереотрубой. Федосеев заглянул в стереотрубу. Он увидел задворки поселка, шлагбаум, задранный в низкое серое небо, станционное здание, какой-то пакгауз и вагоны возле него. Отсюда не слыхать своих пушек, но слышны и видны разрывы снарядов. Они вздымают над снежным полем черные столбы, так что видимости совсем не стало. Огонь плотный, и земля не успевает опадать. Пласты вздыбленной земли остаются висеть на горизонте черной массой, презревшей закон тяготения.

Вчера утром колонна немецких танков и цуг-машин рвалась сюда по шоссе. Можно было различить невооруженным глазом танки средние и тяжелые. Снаряды ложились близко, лейтенант и Федосеев ныряли на дно воронки, чтобы не приласкал свой же осколок.

Лейтенант сохранял присутствие духа, несуетливую деловитость. И лишь когда нужно было накрыть движущиеся цели и счет шел на мгновения, когда лейтенант, не отрываясь от бинокля или стереотрубы, молниеносно производил вычисления и диктовал координаты Федосее-

ву, он так сильно бледнел, что Федосеев видел каждую веснушку. Если в декабре все лицо обметало, сколько же веснушек высыпает летом?

«Ну что там пушкари, на самом деле! — раздражался Федосеев.— Может, Суматохин плетется, медленно несет снаряд? Или установщик долго возится с колпачком? Или краник взрывателя тугой и не поддается пальцам? Почему же тогда никто не берется за плоскогубцы?! Зало замок? Замешкался заряжающий Кавтарадзе? Или Нечипайло с ленцой вертит поворотный механизм? Вообще-то на наших ребят непохоже... Так что же они, черти полосатые? Когда же там прозвучит команда «огонь!»?

В ожидании батарейного залпа лейтенант бледнел, а Федосеева начинала бить нервная дрожь. Он не знал, куда девать свои руки, налитые железной силой. Телефонная трубка казалась в такие минуты хрупкой, а в трубке мерещился глухой стук, с каким уже падают одна за другой шесть пустых снарядных гильз.

Но едва начинали рваться свои снаряды, Федосеев мгновенно забывал, как только что обвинял пушкарей во всех смертных грехах.

Артиллерийские разведчики всегда вдали от своей батареи. И чем солиднее пушки, тем дальше от них наблюдатели. Истоки точности берут начало далеко-далеко, где-нибудь на колокольне разбитой церкви, на чердаке дома, на рослой сосне или в такой вот воронке, где сидит дальнозоркий и не по летам терпеливый, приглядистый лейтенант Воейков. «Вот бы стать таким, как лейтенант! — замечтался Федосеев.— Может, и меня когда-нибудь война произведет в лейтенанты. Или служба оборвется раньше времени?»

Впереди за линией окопов установилась непрочная фронтовая тишина. Припустил снежок, из воронки не видать уже и третьего телеграфного столба, шагающего вдоль шоссе. Вскоре перед глазами возник такой умиротворенный пейзаж, будто их заснеженная яма передвинулась куда-то в безопасный, покойный тыл. И лейтенант догадался, откуда пришло обманчивое ощущение,— от первобытной чистоты снега. Он присыпал все черные круги, проплешины на месте разрывов, всю пороховую копоть, сделал невидимым задымленный передний край, забелил облако дыма справа, над станцией Лобня.

Стереотруба ослепла, лейтенант закрыл свой планшет: вычислять, наблюдать нечего. Можно вдоволь помолчать и наговориться.

Между прочим, одногодки, одной осенью в школу пошли. А Федосеев-то думал, что он моложе лейтенанта года на четыре. Он стал относиться к лейтенанту еще уважительнее — столько успел человек в свои годы! — но и с большей внутренней свободой: как-никак сверстники.

— Во-о-от там, на обочине шоссе, прячется в сугробе столб «26»,— показал лейтенант.— Красная Поляна, Звенигород, Алабино, Истра, Голицыно, Яхрома... Ты понимаешь, что за перечень?

Федосеев недоуменно пожал плечами:

— Населенные пункты...

— Да, там москвичи снимали дачи. Это же исконные дачные места!..

Но откуда Федосеев может знать про подмосковные дачи, если он никогда не видел Москвы? И он не один такой на батарее.

«Как же это? — встревожился лейтенант.— Защитники, а Москвы не видели. Может, так и умрут за нее, не дождавшись увольнительной в город? А хорошо бы всем ребятам с батареи показать Москву. Надо будет доложить про свою затею замполиту...» Лейтенант укорял себя в неумном мальчишестве, но мысленно уже шагал по Москве, уже что-то объяснял своему соседу по воронке и другим артиллеристам, а те смотрели во все глаза на Красную площадь, на Кремль, на переулки Арбата.

Лейтенант с увлечением рассказывал про Царь-пушку и «место Лобное, для голов ужасно неудобное», про парашютные вышки и про «лестницы-чудесницы» в метро, про вращающуюся сцену во МХАТе и «чертово колесо» в Центральном парке. А подробнее и охотнее всего—про тихие зеленые переулки Арбата, по которым еще мальчишкой бегал в школу. Он знал на Арбате все проходные дворы, все лазы в заборах; в тех захолустных переулках живет-доживает и никак не умирает московская старина.

Тут Федосеев осмелился перебить лейтенанта и вслух вспомнил, с каким трудом он, бывало, пробирался в школу через лес. А когда тропу заметало снегом по пояс, приходилось пропускать занятия.

— Небось хочется съездить домой, в Москву? — Федосеев показал рукой куда-то себе за спину, где в четырех километрах южнее сидел на контрольном пункте Шарафутдинов.

— А мне даже по телефону поговорить в Москве не с кем,— отмахнулся лейтенант невесело.— Кто на фронте, кто в глубоком тылу. Единственный знакомый голос во всем городе — диктор, который по телефону сообщает точное время. Но разве с ним можно поговорить по душам?

— А вот у меня разговор по душам,— неожиданно сказал Федосеев.— На передовую временно меня прислали. Хочу попроситься насовсем. Линейным надсмотрщиком сюда на НП...

— Понимаешь, куда просишься?

— Дед говорил: не повезет, так дома и лежа споткнешься.

— Лишь бы не споткнуться о собственный могильный холмик. Ты уже хлебнул сегодня. Сквозь огонь шагал, ползал...

— А все-таки... Чтобы не только своего орудийного пороха понюхать, но и чужого.

— Такого аромата здесь хватает,— рассмеялся лейтенант и вновь принялся за какие-то вычисления, держа карандаш в окоченевших руках и не закрывая планшета.

Что он так долго вычисляет, когда стереотруба закрыта чехлом?

А лейтенант спросил весьма несмело:

— Хочешь, стихи почитаю?

— Хочу, товарищ лейтенант.

Лейтенант собрался было достать тетрадку, лежащую в планшете, но передумал — снег все не унимался — и принялся читать на память:

Я ложку, потеряв свою,
У друга одолжил.
Начался бой, и в том бою
Мой друг смертельно ранен был.
Его суровый гордый рот
Еще дымился алой кровью,
И я один ушел вперед,
От ярости нахмурив брови...

Чтение пришлось прервать — метрах в шестидесяти, прямо на дороге, разорвался тяжелый немецкий снаряд, а разлет осколков, как известно, тем больше, чем сильнее промерзла земля и чем тоньше снежный покров.

Оба нырнули на дно воронки, где лежали стереотруба и ящичек с телефоном. К счастью, провод нигде не перебило. «Лебедь» сразу подал признаки жизни, ответив «Оленю», то есть Федосееву.

Потом Федосеев удивился вслух: лейтенант так ловко производит вычисления, неужели цифирь не мешает ему сочинять стихи?

А лейтенант очень охотно поддержал разговор и поделился с телефонистом давними своими сомнениями о выборе профессии. Никак не мог он весной позапрошлого года решить, куда пойти учиться — на математический факультет или в литературный институт.

— Слава богу, военкомат за меня решил,— рассмеялся лейтенант.— Угодил я в артиллерийское училище, в Подольск.

Он проворно вылез из воронки, чтобы показать дорогу на полковой медпункт двум раненым из бригады морской пехоты; на одном были бушлат и ушанка, на другом — шинель и бескозырка. Матросы ковыляли по шоссе, опираясь на свои карабины, как на посохи, а ранены были один в левую, другой в правую ногу. Они сообщили, что идут от железнодорожного переезда, от Лобни. Над станцией стоит дымная туча, хотя ее и не видно отсюда за снегом; это матросы подожгли бутылками два танка...

Когда раненые прошли и вновь стало тихо, Федосееву не пришлось упрашивать лейтенанта дочитать стихи. Видимо, автору не терпелось самому проверить строчки на слух:

Когда нам ужин привезли,
Взял ложку из-за голенища,
Стал есть и ел не посолив,—
Без соли солона та пища.

— Над концом надо еще поработать,— сказал лейтенант озабоченно и застегнул планшет.

Федосеев появился на батарее с хорошими новостями. Он сам видел, как фашистов выбили из Красной Поляны, как они драпали из деревни Катюшки, как их отбросили от станции Лобня, где до сих пор торчит задранный в небо шлагбаум.

Теперь наши пушки уже не могли дотянуться до фашистов. Телефонисту не трудно было догадаться — не сегодня-завтра батарея снимется и ее перебросят на другой участок.

По возвращении Федосеев не мог отлучиться от телефона и лишь поглядывал издали на знакомый дом. Дом стоял незрячий, с фанерными бельмами на окнах, и потому выглядел нежилым. Но вот он, дымок, подымается над прохудившейся трубой! Значит, Пал Палыч все-таки склеил глиной потревоженные, разъединенные кирпичи.

Федосеев издали ощущал тепло, идущее от плиты, ему виделась негаснущая лампочка над столом, слышалось, как потрескивает и шепелявит в углу комнаты черная радиотарелка, которую Пал Палыч не позволяет выключать.

Федосеев отчетливо представлял себе обстановку, утварь дома. Он умел вызвать в своем воображении внешность родителей Груни. И только ее лицо оставалось расплывчатым, неуловимым. Светлые прямые волосы, чуть выдающиеся скулы и чуть раскосые глаза делали ее похожей на миловидную крашеную татарочку.

Он спросил про обитателей дома у Нечипайло, но тот отмахнулся от вопроса, плутовски подмигнул и показал рукой в противоположную сторону, на дом с зелеными ставнями, куда теперь ходит ночевать. Еще после первых залпов батареи он высмотрел, что в доме на дальнем краю оврага стекла уцелели, видимо ставни помогли, и отправился туда на «рекогносцировку».

Федосеев не дослушал Нечипайло, отчужденно передернул плечами, круто от него отвернулся и зашагал к знакомому дому.

Хозяева не очень удивились его приходу, но предупредили — шинель не снимать, из окон чертовски дует.

Он подменил Пал Палыча у плиты и долго сидел в

одиночестве, подкладывал по полену, по два: пусть Груня согреется, когда придет.

Вернулась Груня поздним вечером. Они сидели вдвоем у плиты, и казалось, двум этим истопникам не хватит длинной декабрьской ночи, чтобы переговорить обо всем, отчаянно важном для них обоих.

Он рассказывал ей о своем Соликамске, о старых солеварнях, просоленных настолько, что бревна только чернеют, а не гниют. Признался, что лениво учился в педагогическом техникуме, недоучился и поступил на рудник электриком. Что больше всего привлекает в звании «дежурный электрик»? Приходится принимать быстрые решения и притом самостоятельно. В аварийных случаях тем более нужна расторопность, уверенность в себе.

— А на фронт попал и потерял эту самую уверенность. Может, на руднике ее оставил, а может, в запасном полку забыл, вот ведь беда какая...— Он пожал плечами, внимательно поглядел на свои сильные руки и надолго задумался; Груня не мешала ему молчать, она понимала, что внезапное признание не из легких.— Только на этой неделе немного ума набрался...

— Что-то я не заметила,— поддела Груня с коротким смешком.

Но тут же посерьезнела, перешла на доверительный шепот и, оглядываясь на перегородку, за которой спали родители, призналась, что вчера была в райвоенкомате и подала заявление с просьбой направить ее на фронт, в санитарки. С ней ездил усатый писарь из штаба дивизиона — замполит послал его на подмогу.

Федосеев был счастлив сидеть рядом с Груней, болтать о всякой всячине, жить в ее присутствии. Оба чувствовали себя столь близкими, что обоюдно угадывали мысли и чувства, хотя, в сущности, очень мало знали друг о друге. Может, потому каждый так охотно рассказывал о себе, чтобы другому не приходилось выспрашивать, как это делают малознакомые.

5

Лейтенант Воейков доложил замполиту дивизиона о замышляемой экскурсии по Москве.

— Но только за счет положенного отдыха,— сказал

замполит строго.— И разработайте эту московскую операцию во всех деталях.

При этом замполит так посмотрел на лейтенанта Воейкова, будто тот был виноват — до сих пор не выполнил приказа совершить экскурсию.

Лейтенанту с группой бойцов, увольняемых в город, надлежит ждать после экскурсии в восемнадцать ноль-ноль у станции метро «Смоленская», по правой стороне Садового кольца, если двигаться к Бородинскому мосту; надлежит стоять на тротуаре и приглядываться-прислушиваться к тягачам, которые прогромыхают мимо.

Лейтенант уже знал, что в двадцать ноль-ноль в условленном месте, где-то на развилке Можайского и Рублевского шоссе, будет ждать «маяк», он вручит командиру дивизиона секретный пакет с указанием их дислокации.

Утром Федосеев зашел в знакомый дом попрощаться, но застал только встревоженную Анастасию Васильевну.

— Аграфена опять убежала в военкомат...

— Не сказала, когда придет?

— Да она, наверно, и сама не знает. Бегает натощак. И спала сегодня на одном ребре. На стуле притулилась у плиты...

Федосеев ушел в последнюю минуту — недолго и отстать от экскурсии. Сбежав со скрипучего крыльца, он обеспокоенно взглянул на полукруглый номерной знак, прибитый возле крыльца,— Верхние Лиховборы, № 20...

С аккуратностью и точностью артиллерийского разведчика рассчитал время лейтенант. С места пушки снимутся через полтора часа. Пока погрузят полтора боекомплекта, пока заправятся горючим. Нужно пробраться переулками на Дмитровское шоссе, прямым ходом туда из овражка не выехать. Выехать к Савеловскому вокзалу. Проехать из конца в конец всю Каляевскую улицу. Свернуть вправо на Садовое кольцо. Миновать площадь Маяковского, площадь Восстания. Со Смоленской площади свернуть направо на Бородинский мост и дальше — на Можайское шоссе. Лейтенант принял в расчет скорость движения всей колонны, хотя и не верил в то, что «маяки», высланные вперед на перекрестки, смогут обеспечить «зеленую улицу». На квадрате карты, куда теперь попала Москва, лейтенант вычислил и длину маршрута,

ожидающего их батарею. Оставалось составить график всей экскурсии по минутам.

Больше всех предстоящим увольнением в город заинтересовался Нечипайло:

— Такой случай пропускать никак нельзя... Вот война кончится, а меня, может, и в Москву не впустят...

Он говорил с неожиданной для него искренностью, в глазах была грусть. Большие глаза Нечипайло, казалось, случайно попали на рябоватое, некрасивое лицо, осветив его теплым голубым светом.

Выглядели экскурсанты необычно. У всех при себе карабины, подсумки, «сидоры» за плечами. Их даже заставили надеть противогазы, чтобы комендантский патруль не придирался.

Доехали на трамвае до станции метро «Сокол», вошли в почти невидимую дверь, окутанную морозным паром. Нечипайло был разочарован, на станции не оказалось эскалаторов, но в вагоне ему все очень понравилось.

Неожиданно быстро доехали до площади Революции. Лейтенант сказал, что она в самом центре города, и приказал выходить.

Федосеев, как и его попутчики, весьма неуверенно ступил на эскалатор. Все ему было внове в подземном этаже Москвы. «Стоять справа, проходить слева, тростей, зонтов и чемоданов не ставить». Все, кто спускается им навстречу по соседнему эскалатору, только что с мороза — румяные, особенно девушки... Но вот снова твердый пол под ногами.

Они перешли площадь, прошагали мимо Стереокино, мимо Центрального детского театра и, слушая объяснения некурящего лейтенанта, постояли, подымили тесным кружком на площади Свердлова. Лейтенант быстро вошел в роль и разглагольствовал, как заправский экскурсовод.

Фасад Большого театра, знакомый Федосееву по фотографиям и киножурналам, неузнаваем. Может, оттого, что не видать коней на верхотуре? Вся верхушка театра завешена двумя декорациями: слева двухэтажный дом, правее — роща. Лейтенант объяснил, что это камуфляж. Нечипайло заинтересовался, сколько чугунных коней на крыше в той замаскированной упряжке — четыре или шесть, состоит при них чугунный ездовой или нет?

Вышли на Красную площадь, и Федосеева сопровождало ощущение, что он ходит по давно знакомым местам. Лейтенант обещал показать Минина и Пожарского, народных ополченцев старой Руси, но памятник заложили мешками с песком. Молодцевато прошагали от Мавзолея часовые — там сменили караул. Федосеев проводил часовых завистливым взглядом — вот это строевая подготовка, не то что в запасном полку!

Лейтенант рассказал о Кремле и Красной площади много такого, чего Федосеев не знал. Конный патруль еще раз измерил притихшую площадь из конца в конец. Ранние сумерки доносили приглушенный снегом цокот копыт по брусчатке. Лейтенант обратил внимание на то, что циферблат часов с наступлением сумерек не подсвечивают, как это было до войны; что кремлевские звезды (он цветисто назвал их рубиновым созвездием Кремля) теперь замазаны защитной краской; что с кремлевской стены еще не смыли фальшивые окна и деревья — их намалевали летом, чтобы сбить с толку фашистских налетчиков.

Решили дождаться шестнадцати ноль-ноль, чтобы послушать кремлевские куранты. Федосеев напряженно вслушался в четыре мелодичных удара — с детства знакомый перезвон — и подумал, что эти куранты сейчас играют и в холодном доме без окон, где не выключается радио, не гаснет электрическая лампочка, а шаткие отсветы, идущие от плиты, мельтешат по стенам и потолку.

Лейтенант взял Федосеева под локоть, замедлил шаг, отстал от группы и смущенно спросил, показывая рукой на кремлевскую стену:

— Видишь, ветер сметает снег с зубцов? Похоже на пороховой дым из бойниц крепости. А голубые ели выстроились в шеренгу, как бойцы. И набросили на себя белые маскировочные халаты...

Федосеев дважды кивнул в знак согласия, и лейтенант заулыбался; при этом он так провел ладонью по лицу, словно решил раз и навсегда стереть все веснушки. Он сосредоточенно думал сейчас о чем-то своем, не вошедшем в программу экскурсии, утвержденной замполитом...

С Красной площади лейтенант повел свою группу по улице Горького. Федосеевым владела радость узнавания нового большого города. Это чувство острее у человека,

который мало путешествовал, а жил где-то в медвежьем углу, в захолустье. Что откроется за перекрестком? Где кончается улица? Кому памятник? А как выглядели витрины магазинов, когда их не заслоняли мешки с песком? Наступали сумерки. Он с трудом прочитал вывеску против телеграфа — «Парикмахерская». Когда-то вывески светились, да еще, наверное, цветными огнями, а сейчас не узнать, где и что было. И он все пытался вообразить, как выглядела Москва мирная. Во всяком случае, город не был бездетным, как сейчас, не был таким безголосым и не боялся огней.

Он мысленно выругал себя за то, что не решился приехать в Москву до войны. Если поднатужиться, скопить деньжат на поездку можно было, и прямой вагон Соликамск—Москва прицепляли к пермскому поезду. Мог бы заехать прямо в Верхние Лихоборы; ему сразу послышалось такое знакомое «проходите, садитесь, в ногах правды нет...» Он посмеялся над собой — рассуждает так, будто был знаком с Груней до войны...

«Может, Груня успела вернуться до того, как тронулись наши тягачи? Так и не попрощался... Адрес-то помню. Но ответит ли Груня на письмо?»

И он слушал и уже не слышал рассказ лейтенанта про то, как расширяли бывшую Тверскую, передвигали четырехэтажные дома.

Они дошли до Тверского бульвара, постояли у памятника Пушкину. Лейтенанта тревожило, что Пушкин ничем не укрыт,— стоит с непокрытой головой и бронзовые плечи присыпаны снегом. Правда, в сером небе маячит аэростат воздушного заграждения, но все-таки... Памятник Пушкину был лейтенанту дороже всех других.

Так и подмывало свернуть по бульварному кольцу к Арбату, проведать свой опустевший переулок,— пусть даже квартира на замке и он не встретит во дворе никого из знакомых. Но не тащить же за собой из сущего эгоизма шестерых артиллеристов. Им в том переулке на Арбате делать совершенно нечего.

Он раздумчиво поглядел в сторону Никитских ворот, вздохнул и повернул назад. Чем лейтенант шагал медленнее, тем походка у него делалась все более штатской, даже чуть развинченной.

Зашли в темный телеграф, в большой операционный

зал. Лейтенант с наслаждением вдохнул милый с детства, не выветрившийся, неистребимый запах почты — смешанный запах сургуча, клея, штемпельной краски и еще чего-то, манящего в даль... Он сверился с часами — семьдесят минут в запасе.

Не торопясь вернулись они на площадь Революции и вторично спустились в метро — есть время прокатиться взад-вперед. Несколько раз они выходили из поезда, пересаживались и осматривали станции. Кавтарадзе особенно понравилась станция «Маяковская» — со стальными колоннами. Он готов дать руку на отсечение — к этой стали добавляли их чиатурский марганец. А Федосееву приглянулись «Красные ворота» — красные и белые плиты под ногами, белые ниши и красные стены; такие же краски на горизонтах калийного рудника.

В огромном бомбоубежище, каким стало московское метро, сложился свой быт. На станции «Курская» работал филиал публичной Исторической библиотеки: он открывался, когда прекращалось движение поездов. Федосеев проникся уважением к подземным читателям — занимаются в часы воздушой тревоги!

«А сам даже не записался в библиотеку на руднике. И вообще ленился читать...»

Станции готовы к беспокойной ночной жизни. Топчаны, сложенные штабелями; куцые детские матрасики в дальнем углу платформы; деревянные трапы, чтобы сходить с платформы в тоннель.

Впервые в жизни, да еще находясь в метро, лейтенант беспокоился — только бы не было воздушной тревоги! Дивизион-то будет двигаться через Москву при всех условиях, а пассажиров могут не выпустить из метро — все эскалаторы в такие минуты бегут вниз и движение поездов прекращается, потому что публику размещают в тоннелях, а перед тем снимают напряжение с третьего рельса.

Пожалуй, из предосторожности нужно покинуть метро до того, как в восемнадцать ноль-ноль окончится движение поездов и станции начнут принимать потоки ночлежников...

Закончили путешествие на станции «Смоленская». В морозном облаке пара тускло светилась синим светом коренастая и приземистая буква «М».

У вестибюля уже выстроилась очередь. Сегодня погода благоприятная, звезд не видать, и потому ночлежников немного: преимущественно женщины с детьми, старики и старухи. Но Федосееву бросился в глаза молодой мужчина атлетического телосложения.

«А этот чего сюда при синем свете от войны прячется? Тяжелоздоровый?.. У нас на Урале про таких говорят: «Шаньги на щеках печь можно».

Дома́ затемнены, как нежилые, а вся широкая улица — как выморочная. Не слышно шума городского. Прошла машина с прищуренными фарами — узкие прорези пропускали лишь подслеповатый синий свет.

Снег не унимался, и нелетный вечер нес городу сон и покой. Прежде, вспоминал лейтенант, даже в такой снегопад начиналась дворницкая страда — шваркали лопаты, звякали скребки, движущиеся транспортеры ухватисто подгребали комья, глыбы, сугробы снега, и снег увозили машинами. Ох и намерзся он когда-то, взирая на диковинную снегоуборочную машину!

В томительном ожидании семеро артиллеристов стояли на кромке тротуара и вслушивались в простор Садового кольца — не громыхают ли вдали тягачи с пушками на прицепе?

Доносились только гудки полуслепых автомашин.

Лейтенант взял Федосеева под руку, отвел в сторону и сказал доверительно:

— Отсюда до моего дома рукой подать.— Он протянул руку в сторону пустынной улицы: — Во-о-от там...— Он вдруг прихлопнул на себе ушанку.— Да, забыл сказать, Федосеев. Насчет твоей просьбы. Доложил «ноль пятому» и получил «добро». Так что прощайся с тылом, с огневой позицией. Будем ползать, прятаться и подглядывать вместе...

— Порядок! — Федосеев обрадовался.

Просто удивительно, как быстро сдружились наблюдатель и его телефонист! Так могут сдружиться только люди, которые неделю подряд сидели, тесно прижавшись друг к другу в воронке, грызли вдвоем один мерзлый сухарь, смотрели по очереди в один бинокль, делили на двоих кирпичик пшенного концентрата, прихлебывали из одной фляжки, спали по очереди, а в уши им свистели одни и те же осколки.

Первым в снежной полутьме различил очертания головного тягача не кто иной, как Нечипайло.

Всей группой они побежали через улицу. Посередке мостовой громыхали двухкилометровым ходом тягачи «ворошиловцы» с пушками на прицепе. Можно было забраться на станины орудий и на ходу, но командир, ехавший впереди в белой «эмке» вместе с замполитом, увидел своих и остановил колонну.

Лейтенант Воейков доложил, что вверенная ему группа в количестве шести бойцов вернулась после увольнения в город в полном составе и в назначенное время...

Это только походка у Воейкова штатская, а подход к начальству у него образцовый, и каблуками он пристукнул молодцевато, и руку лихо вскинул к ушанке, и отрапортовал бравым тоном.

Тут же раздалась команда «по ко-о-ням!», и все разбежались по своим расчетам.

— Эй, сибиряк! — закричал водитель тягача, как только увидел башлык Кавтарадзе.— Прыгай сюда! На теплую плацкарту... Поближе к мотору.

Меж сведенных станин орудия безмятежно спал Сумматохин. Он положил под себя плащ-палатку, набитую сеном, а накрылся не то какой-то попоной, не то орудийным чехлом — в полутьме не разобрать. Ему не было никакого дела до того, что пушки громыхали по улицам Москвы, которой он никогда не видел.

Однако что за незнакомый пассажир на соседнем тягаче? На сиденье позади водителя пристроился какой-то толстяк.

Нечипайло вгляделся — да это же не толстяк, а толстушка. У кого же волосы так симпатично выбиваются из-под ушанки? Ай да Груня! Хрупкая барышня, а характера твердого. Ну и закутали ее! Наверно, родители на нервной почве весь гардероб напялили на дочку, а сверху еще ватник и эту мятую шинель.

«Где же наш телефонист? — заерзал Нечипайло.— Трясется в конце колонны со своим лейтенантом. Их теперь кипятком не разольешь. Федосеев небось и не знает, кто к нам на батарею определился. Обрадую его на первой остановке. Вот глаза растопырит! Впрочем, он теперь — отрезанный ломоть. Москвич сманил его в разведку».

Лейтенант и Федосеев сидели с расчетом шестого орудия. Лейтенант повернулся налево и все вглядывался в темноту широкой улицы, за которой лежал еще более темный Арбат.

А Федосеев неотрывно смотрел на мостовую. Два пучка синеватых лучей с трудом пробивали плотную темень. В чуть подрагивающих лучах видны были редкие снежинки. Они возникали из черноты, там же пропадали, и потому казалось, что снежинки падают только, пока освещены.

1968

ГОЛУБАЯ ЗАПЛАТКА

Мы лежали и прислушивались к дождю. Капли стучали о плоскость и стекали с ее краев, но трава под крылом самолета была по-прежнему сухой, и чувствовали мы себя на этом зеленом островке хорошо и покойно.

Ляпунов с нежностью провел ладонью по гладкой поверхности крыла и нащупал маленькую заплатку, едва различимую под слоем краски. Заплатка была как шрам на теле, незаметный для постороннего глаза. Крыло выкрашено снизу под цвет неба — весь самолет на голубой подкладке.

— Я в тот день восемь пробоин привез,— сказал Ляпунов и еще раз погладил заплатку.— Спасибо Ивану Митрофановичу, выручил. Знаменитый старик!

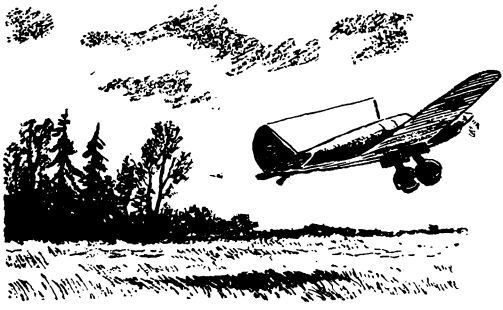
— Старик? Как же он сюда попал?

— Это, доложу я вам, целая история,— сказал Ляпунов с притворным равнодушием.

Ему самому хотелось рассказать эту историю, и мне не пришлось долго упрашивать.

Ляпунов снял шлем, приподнялся на локте, прислушался. Тихо. Очевидно, и другие летчики так же вот отлеживались в шалашах или под плоскостями машин, спрятанных у самой границы леса. Ляпунов лег на спину, вытянувшись вдоль крыла, подложил руки под голову и, помедлив, начал рассказ:

— Воюю я давно и немало потерял товарищей с начала войны, но ни одного из них не проводил до могилы, ни с кем не простился напоследок, как полагается. Ни-



чего не поделаешь, такая у нас, у истребителей, судьба. Придешь после полета в землянку, а рядом — пустая койка. Висит комбинезон, полотенце тут же, зубная щетка еще не успела просохнуть, а хозяина нет, не вернулся из боя.

Вот так в один из дней прошлогоднего августа не вернулся домой Петр Кирпичов.

Помню, наш майор долго стоял в тот день на летном поле и ждал. Пришла последняя четверка, вернулся ведомый Кирпичова Костя Семикрас, но и он не знал о напарнике. Машина Семикраса получила пробоину, потеряла скорость, и Кирпичов приказал ведомому нырнуть в облака и уйти из боя.

Прошел час после вылета, час десять, час двадцать. Майор Шелест отлично знал, что Кирпичов уже не может прилететь, потому что истребителю отпущен недолгий срок для работы и мотор живет в небе только час с небольшим, пока не выпьет всю «горилку». И тем не менее Шелест стоял и упорно, наперекор времени и горькой правде, ждал. Он стоял, широко расставив ноги, сгорбившись, заложив руки за спину, и никто не решался подойти, заговорить с ним.

Все знали, что Кирпичов — любимец Шелеста. Кирпичов долго был щитом командира, то есть летал с ним

в паре, был у него ведомым. А когда Шелеста перевели на полк, Кирпичов занял его место в первой эскадрилье.

Шелест стоял и курил, зажигая одну папиросу от другой, и, только когда стало темнеть, ушел в штабной шалаш. Он подсел к столику дежурного, но ничего не спросил.

— Всех соседей обзвонил,— доложил дежурный сам.— На аэродромах нет. Сигналов тоже не принимали...

Вечером Шелест пришел в общежитие первой эскадрильи. Он долго сидел на койке Кирпичова, открыл было его коробку папирос, достал оттуда одну, потом осторожно положил ее обратно и достал свои папиросы.

Разговор шел у нас какой-то пустой, ерундовский — о погоде, о табаке «Золотое руно», о карточных фокусах, о ловле рыбы на блесну и еще о чем-то — не помню уже, о чем именно.

Но о летных делах, о Петре никто не заикнулся. Уходя, Шелест поправил подушку Кирпичова, поправил одеяло, чтобы не морщилось, и опять ничего не сказал.

Прошел месяц, а койка Кирпичова была по-прежнему пуста и вещи лежали нетронутыми. Есть у нас в полку обычай: мы не занимаем коек товарищей, которые пропали без вести. Вдруг хозяин каким-нибудь чудом появится, а мы, выходит, его похоронили!

Четыре раза носил писарь к Шелесту подписывать извещение насчет Кирпичова. Майор то отговаривался, что ему страшно некогда, то говорил: «Обождем». Но потом пришлось все-таки послать отцу Кирпичова извещение, что сын пропал без вести. И тогда же написал Шелест письмо старику. Это у него такое правило, у нашего командира: он всегда пишет родным, если что случилось.

Прошел еще месяц, а потом разнесся по аэродрому слух, что приезжает к нам отец Кирпичова. Старик хотел повидаться с нами, товарищами Петра, и командир дивизии дал на это согласие.

Нужно признаться, что каждый из нас немножко боялся этой встречи.

Петр был единственным сыном, мы это знали, и знали, что нет слов, которыми можно утешить отца. Разве сослаться на соседний полк, куда, спустя пять месяцев,

вернулся летчик, сбитый над территорией врага? Но ведь это счастливая и редкая случайность. И как обнадежить старика, если сам не веришь, что Петр жив?

Кирпичов-отец приехал, когда все были в кино и там, как назло, шла комедия, кажется «Девушка с характером». Насмеялся народ вволю, а тут такая печальная встреча.

Отец Петра ждал нас в избе. Это был совсем седой, но бодрый старик, не знающий сутулости. Он казался моложе своих лет, может быть, потому, что не носил усов. Рука его, когда он здоровался, слегка дрожала, и я подумал, что это у него старческое. Похож ли он на Петра лицом, затрудняюсь сказать. Но было какое-то неуловимое сходство с сыном в жестах старика, в том, как он скручивал самокрутку, как здоровался.

Все сели; наступило тягостное молчание.

— А у вас тут, оказывается, грибы растут,— сказал Кирпичов неожиданно.— И много! Аэродром — и вдруг грибы. Кругом березы, а растут одни подосиновики. Вот их сколько...

И он кивнул на свой картуз, выложенный снизу листьями и доверху набитый подосиновиками.

— Это верно, Иван Митрофанович,— подтвердил Семикрас.— Грибов здесь — тьма. Больше, чем на даче.

Семикрас у нас самый молчаливый, необщительный, но первый вступил в разговор, первый узнал, как величать старика по имени-отчеству.

Иван Митрофанович ничего о сыне не расспрашивал, а когда сам произнес его имя, то перед этим запнулся — боялся потревожить память о нем словами.

На ночь старика решили устроить на койке Петра — другие были заняты.

— Неудобно все-таки,— сказал Иван Митрофанович, сидя на койке и никак не решаясь улечься.— Чья-то чужая койка, белье, даже папиросы под подушкой. Вдруг хозяин заявится? А я тут разлегся, как паша турецкий или вовсе граф какой-нибудь...

— А мы, Иван Митрофанович, с хозяином койки договорились. Сказал — пожалуйста. Тем более он задержался, в отъезде...

Семикрас говорил бойко, почти весело, но при этом глаз не поднимал.

Утром все уехали на аэродром, Кирпичов остался хозяйничать в избе. К вечеру кто-то из наших, кажется Пономарчук, вошел в избу; как обычно, хотел повесить шинель на согнутый шаткий гвоздь и увидел рядом вешалку.

— Откуда такая мебель?

— Это я от скуки занялся,— сказал Иван Митрофанович.— Дело нехитрое, а инструмент я прихватил с собой — рубанок, стамеску, пилку...

За день он успел соорудить вешалку, сколотил расшатанный, вихляющий ножками столик, привел в порядок входную дверь, которая у нас сроду не закрывалась как следует.

Через три дня, когда старику пришло время уезжать, Семикрас пошел к командиру просить за Ивана Митрофановича, чтобы тот остался где-нибудь при аэродроме. Старик только о том и мечтал.

— Сами подумайте, Семикрас: ну куда я дену штатского старика? Ну, куда?

— Должность мы ему придумаем. Пусть воду возит или еще что-нибудь. Там в батальоне вольнонаемные полагаются.

— Найдете должность — пожалуйста,— согласился Шелест.

Как раз в то время мы собрались открыть офицерский клуб, и там нужен был сторож — на это даже деньги по смете отпущены. Сторож, а зимой еще истопник.

— Ну как, Иван Митрофанович? Сторожем в клубе согласны поселиться? — спросил Семикрас.

— Бдительность — это у меня есть. Уж смотреть, так в оба глаза. И за клуб будьте благонадежны! — обрадовался старик. А после вздоха сказал глухо: — Мне бы только отсюда не уезжать. Тут Петя воевал, тут и мне жить. Чтобы без одиночества. Так что спасибо тебе, сынок, отцовское...

В первый день клубная публика как-то стеснялась веселиться при Иване Митрофановиче. Но он, тонкий старик, заметил это и сам рассмешил летчиков какой-то забавной историей о подвыпившем попе.

Я так думаю, что смех, и танцы, и тосты на открытии клуба, все веселье наше тоже было в честь Петра Кирпичова, а вовсе не в обиду его памяти.

Один только Костя Семикрас держался в клубе тихо, чинно. Он у нас и раньше не был бойким кавалером, а после случая с Петром Кирпичовым танцы бросил вовсе, а на гитаре играл песни всё больше печальные, со слезой.

Иван Митрофанович жил у нас в сторожах, пока не увидел однажды, что на аэродроме чинят самолет. Придет машина с пробоинами, ее тут же в березовом закуте и штопают. Дело хитрое, требует умелых рук. Иной раз полагалось бы отправить машину на ремонт, но ведь это времени сколько! А когда жаркие бои, каждый «ястребок» на счету.

Самолеты с пробоинами, скажу я вам, совсем как раненые, разгоряченные боем, которые не хотят уходить в тыл и требуют, чтобы им сделали перевязку тут же, под огнем, и рвутся обратно в бой и дрожат от нетерпения, пока их бинтуют.

Постоял старик у самолета, посмотрел, как наш Иголкин заплатку вытесывает, и взялся помогать. Тут только мы узнали, что по специальности Кирпичов — столяр-краснодеревщик и модельщик первой руки, всю жизнь — с рубанком, со стамеской, с пилкой.

Может, это и против устава, но только клуб стал сторожить колхозный дед, а Кирпичов-отец все дни проводил у самолетов с Иголкиным. Тот тоже аккуратист, но против старика и он — подмастерье.

Старик ходил на аэродром точно к восьми утра, будто его звал на работу заводской гудок. Во время обеда старик всегда спешил, все боялся пересидеть с цигаркой лишние пять минут.

А если Семикрас к началу обеда был в воздухе,

старик не уходил в столовую, пока тот не приземлялся.

Их всё чаще видели вместе. Семикрас уже называл старика не по имени-отчеству, а папашей. В слове этом иногда звучит добродушная и ласковая снисходительность, но в устах Семикраса оно звучало почтительно, совсем по-сыновнему.

Иван Митрофанович держался с Семикрасом, как родной отец, а тот стал ему приемным сыном. Семикрас никогда о том не говорил, но все в эскадрилье знали, что он беспризорник, а в армию пошел чуть ли не из детдома. Он никогда не праздновал дня рождения, потому что не знал его; даже год рождения и тот определили на глаз. Семикрас очень привязался к старику, и часто мы замечали признаки скрытой нежности — нежности взрослого человека, впервые почувствовавшего себя сыном. Например, он отдавал старику свой табачный паек, а сам, смущенный, побирался потом по чужим портсигарам и кисетам.

Как-то, помню, Семикрас вернулся из боя на своей «тридцатьчетверке»: левая консоль обрублена, в стабилизаторе такая дыра, что кулак просунуть можно, весь фюзеляж в отметинах.

Иван Митрофанович взглянул на машину, побледнел и принялся искать глазами Семикраса, как бы желая еще раз удостовериться, что он уже тут, на земле, вне опасности.

— Что, Митрофаныч, испугался? Думаешь, каюк машине, не осилим? — громко спросил Иголкин; он не отличался наблюдательностью.

Старик отвел глаза от Семикраса, обошел еще раз самолет, покачал головой и постучал по обшивке согнутым пальцем, совсем как врач, который выслушивает больного. Вид у мастера был крайне встревоженный, но сказал он весело и твердо:

— Сделаем, как дважды два!.. Что за разговор!

Иголкин остался у самолета, а старик заторопился к тесному кружку мотористов и механиков, которые выпытывали у Семикраса подробности боя. А нужно вам сказать, что нет на свете более любопытных, нетерпеливых и придирчивых слушателей, чем мотористы и механики; Иголкин у нас — исключение.

Иные летчики рассказывают о бое сбивчиво и торопливо, теряя подробности, другие — не спеша, обстоятельно. И только Семикрас обычно отмалчивался. Так и сейчас: чуть ли не каждое слово из него тянули клещами. Но когда Семикрас заметил в кружке любопытных Ивана Митрофановича, он сразу стал словоохотливее.

Как все истребители, он вел рассказ с помощью обеих рук, причем правая кисть изображала его «Яковлев-7», а левая — сбитый им «Фокке-Вульф-190». Семикрас чертил картину боя широкими, энергичными жестами. Он рассекал воздух ладонью, вывертывал руку в кисти, но вираж, очевидно, был очень глубоким, жест казался Семикрасу недостаточно точным, и он вывертывал руку в локте, потом в плече, вот так. Потом он вытянул руки впереди себя, будто держал вожжи, и когда рассказывал, как пристроился в хвост фашисту и взял его в прицел, шевелил большими пальцами, точно нажимал на гашетки. Слушатели понимающе кивали, одобряя умелый маневр, а Иван Митрофанович им поддакивал...

Старик у нас совсем обжился. Он уже знал, что если летчик первой эскадрильи прилетает домой этаким чертом, на бреющем, и перед посадкой крутит «бочку» — значит, вернулся с прибылью. Он совсем по-лётному начал называть бензин «горилкой», глубокий вираж не называл крутым виражом, как все наземники и не сведущие в авиации люди, говорил «плоскостя́», летал к ремонтникам на «У-2» и садился в него запросто, как в телегу, так что его уже стали называть «дедушкой русской авиации»...

Дождь отшумел, с краев плоскости нехотя скатывались последние крупные капли.

Ляпунов вылез из-под крыла, с удовольствием повел плечами, осмотрелся. Я последовал его примеру.

Бледно-зеленые березы, обступившие нас, были тщательно, до последнего листочка, промыты дождем. На стоянке пахло свежей горечью молодых листьев, бересты, почек. От нагретой земли поднимался пар.

Небо было покрыто облаками, но из-за них уже пробивалось прилежное майское солнце. Все предсказывало конец непогоды, и, как бы в подтверждение этого, показалось первое «окно» — голубая заплатка на грязно-сером небе, цвета парусины.

Ляпунов прислушался: с линейки, где в березовых пристанищах стояли самолеты, доносились голоса. Он нахлобучил шлем, принялся надевать парашют, застегнул его лямки и посмотрел в сторону взлетной дорожки. Там было пустынно, тихо, и выражение озабоченности сразу сошло с лица Ляпунова. Он непринужденно оперся спиной о подсохшее крыло и продолжал рассказ:

— Так, без особых происшествий, прошла осень, зима, а в один из мартовских дней — помню еще, на аэродроме убирали скребками лед — Семикраса вызвали в штаб.

Он спустился в блиндаж и со света не сразу узнал какого-то человека в затасканной гимнастерке, без погон, сидевшего напротив Шелеста.

Семикрас подошел ближе, вгляделся, качнулся всем телом, как от удара, и заорал не своим голосом; так, наверно, никто и никогда не орал еще у нас на аэродроме:

— Петька! Петро! Ты! Петруша!..— и бросился на шею Кирпичову.— Петенька, живой?

— Ей-богу, живой! — заверил Кирпичов тоном человека, который утверждает что-то совершенно невероятное и которому не хотят верить.

Семикрас ощупал его плечи, голову, грудь, точно хотел окончательно убедиться, что это не призрак, не привидение, а в самом деле командир эскадрильи, Петр Иванович Кирпичов собственной персоной.

— Да как же ты?

— Горел. Прыгал. Попал к партизанам. У них и воевал,— коротко сообщил Кирпичов.

Ивана Митрофановича они нашли за работой. Тот что-то строгал, сидя на корточках у самолета. Он увидел Петра, поднялся, беззвучно шевеля губами, и хотел шагнуть к сыну, но ноги его подкосились, и если бы не Семикрас, старик грохнулся бы наземь.

Потом Семикрас поспешил куда-то уйти, оставив отца с сыном, не желая мешать их свиданию.

В первые дни Кирпичовы были совсем неразлучны. Отец не отставал от сына ни на шаг, а когда сам что-нибудь мастерил, Петр сидел тут же у самолета и читал.

Только через несколько дней — счастливые люди не-

наблюдательны и забывчивы — Иван Митрофанович заметил исчезновение Семикраса. Старик забеспокоился так, будто тот ушел в полет и не вернулся, хотя сроки давно вышли. Иван Митрофанович обошел весь аэродром и нашел Семикраса в общежитии соседнего полка за шахматами.

Увидев старика, Семикрас принялся зачем-то поправлять на доске все фигуры подряд, и рука его при этом слегка дрожала. Он посидел с минуту, не поднимая головы, потом встал, коротко сказал изумленному партнеру: «Сдался», и вышел со стариком из общежития.

— Ты куда же пропал, Костенька?

— А зачем я, Иван Митрофанович, буду вам обоим глаза мозолить? — сказал Семикрас, глядя куда-то в сторону.

Может быть, впервые за полгода Семикрас не назвал старика папашей.

— Как ты, Костенька, мог такое подумать? — с горечью спросил старик.— Как же я теперь без тебя? Ведь два сына у меня, понимаешь? Два сына — Петр и ты...

— По самолета-а-ам! — донесся протяжный окрик, неожиданный, хотя и долгожданный.

Ляпунов торопливо кивнул мне и нырнул в кабину.

— Ивана Митрофановича обязательно повидайте,— напомнил Ляпунов еще раз, перед тем как закрыть прозрачный колпак над головой.— Он нас сейчас провожать выйдет.

Первые обороты мотора. И вот уже лопасти винта становятся незримыми и рождают крутящийся вихрь. Жесткий воздух бьет в уши. Трава вокруг ложится плашмя. Самолет подрагивает всем телом, точно ему не терпится уйти в небо.

Березки за хвостом самолета сразу стряхнули с себя всю воду — внезапный ветер высушил их досуха; они пригибаются, теряя листья, ветки.

Зеленая ракета загорается над аэродромом — вылет дежурного звена. Машины выруливают на старт. Они движутся по земле неуверенно и по-утиному покачиваются на мокрых кочках.

Через несколько секунд первая пара мчится наперегонки по взлетной дорожке. Самолеты отрываются от земли почти одновременно.

— Пошли мои сыночки! — слышу я за спиной и оборачиваюсь.

В нескольких шагах от меня, запрокинув голову, стоит безусый старик в синем комбинезоне. Он похож на мастерового, который по ошибке забрел вместо своего завода на аэродром.

Я подумал, что старик хочет завязать разговор. Но он не видит меня, не видит ничего, кроме самолетов.

Оба самолета торопливо поджимают под себя шасси и делают «горку». Вторая пара срывается со старта и тоже набирает высоту. Истребители исчезают где-то в поднебесье, а старик еще долго смотрит вверх.

Небо в голубых разводах, оно обещает просторный летный день.

1943

ОДНА МИНУТА

Ветер совсем притих, и листья, похожие на хлопья желтого снега, падали бесшумно и неторопливо. Листья падали на землю, на лафет пушки, на каски и плечи артиллеристов, на скамью, стоящую поодаль.

Пушка Выборнова только недавно сменила огневую позицию и сейчас обосновалась в сквере, который вытянулся мыском у развилки двух улиц. Несколько тщедушных кленов, афишная тумба, скамья с изогнутой спинкой — вот и все достопримечательности сквера.

Выборнов воевал в этом немецком городке с рассвета. Весь день пушка кочевала по городку, и весь день под ее колесами и под ногами артиллеристов хрустели черепица и битое стекло. С рассвета над городком висела красным облаком кирпичная пыль. Она оседала на лицах, противно скрипела на зубах. Шинели были присыпаны красным, как у каменщиков.

У одних домов вместо крыши остались торчать голые стропила, у других оголился только конек крыши, а потревоженная черепица удержалась на ее крутых скатах. Будто какой-то великан приподнял крышу, встряхнул ее, и черепки, стронутые со своих мест, посыпались к карнизам.

Расчет успел расправиться с пулеметом на шпиле ратуши, с пулеметом в слуховом окне дома на рыночной площади и с фашистами, которые отстреливались из горящего чердака.

В последней стычке был ранен командир расчета, исполнявший также обязанности наводчика, Семен Семенович Казначеев.

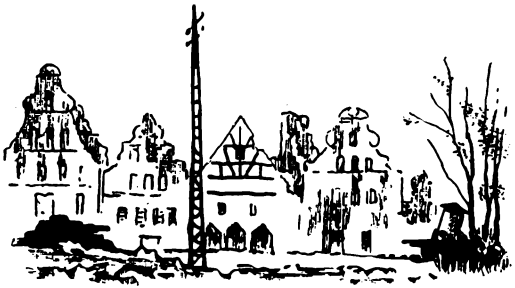
Сперва он не позволял себя увести и пытался стоять у прицела. Но скоро силы его оставили, он сник и уже не противился, когда товарищи понесли его.

Казначеев подозвал к себе Выборнова и сказал едва слышно:

— Так что ты теперь, Петро Иванович, больше не второй номер. За весь расчет хлопочи. Обуглись, а выстой!

Он беззвучно, как бы собираясь с силами, пошевелил губами и добавил:

— А меня пусть на родную землю отправят. Не хочу здесь ни лечиться, ни умирать.



— Как я теперь без вас, Семен Семенович? — спросил Выборнов растерянно.

Он так и не нашел что еще сказать своему командиру — ни слова в утешение, хотя бы в напутствие. Выборнов весь поглощен был тревожной мыслью о предстоящем бое, в котором ему придется быть старшим.

На батарее уже давно намеревались перевести Выборнова наводчиком в другой расчет, но Петр Иванович каждый раз отнекивался, находил отговорку.

Перед выходом на прусскую границу Казначеев опять затеял разговор на эту тему:

«А не пора тебе, Петро Иванович, в наводчики определиться? Наводку знаешь прилично. Или неохота?»

«Нет, почему же? — замялся Выборнов.— Придется, если приказ выйдет. Хотя ответственное дело...»

«Значит, весь век хочешь вторым номером называться?»

«Не обязательно, чтобы меня Петром Ивановичем величали. Пусть второй номер! Меня пусть хоть горшком назовут, да только в печь не ставят».

Казначеев рассмеялся, махнул рукой и пошел по своим делам. Выборнов же принялся снова хлопотать у пушки, очень довольный тем, что остается в старой должности — замковым...

А сейчас ему все-таки пришлось взять на себя командование расчетом, и от одного сознания, что он отвечает за пушку, что ему доверена жизнь людей, на душе стало неспокойно.

Случись все это в другое время — полбеды, но сегодня — первый бой на немецкой земле. Все вокруг чужое: и дома, и вывески, и фургоны со скарбом, брошенные на улицах, и подстриженные кусты в сквере, и само небо, затянутое дымом и жесткой, неопадающей пылью.

Эта вездесущая кирпичная пыль покрыла потные, закопченные лица артиллеристов и разукрасила их причудливыми красно-черными пятнами.

Однако никто этого не замечал, как не замечал усталости и голода. Они дадут о себе знать позже, когда спадет напряжение боя. А сейчас можно думать только о том, что с минуты на минуту из-за угла вот того левофлангового дома с островерхой крышей и маленькими,

какими-то враждебными окнами выскочит танк и помчится прямо на пушку.

Выборнов обвел взглядом своих людей.

Подносчик Боконбаев был, как всегда, невозмутимо спокоен. Для удобства он установил ящики со снарядами на садовой скамейке.

Самойленок суетился больше, чем нужно, и без умолку говорил — горячность, еще не остуженная опытом.

Мельников, занявший место Выборнова, деловито подрывал для сошника землю, все время обтирая пот с белобрысого, безбрового лица.

Выборнов еще подумал о выгодах своей позиции у развилки улиц и в тот же момент услышал нарастающее громыхание танка.

— По местам! — закричал он визгливо, чужим голосом, хотя понимал, что команда, в сущности, ни к чему, все и так наготове.

Выборнов узнал «пантеру» в профиль на повороте, когда та показалась из-за угла. Их разделял один квартал.

Выборнов бросил цигарку, которой даже не успел затянуться, и прильнул к прицелу.

Он хотел сосредоточиться, но мысли путались, опережали одна другую, сбивались, и ему никак не удавалось заставить себя думать только о танке и считать метры, которые их разделяют.

Почему-то он отчетливо вспомнил сейчас ночную переправу пушки через пограничную речонку Шервинту. Неизъяснимое волнение овладело им в тот момент. И не потому он волновался, что ступил на немецкую землю, а потому, что своя земля, которую он исколесил с пушкой и исшагал вдоль и поперек, наконец-то осталась позади. Его снаряды не будут больше рвать и кромсать свою землю, разрушать свои избы.

Интересно было бы знать, сколько отсюда, от этого прусского городка, до Москвы? Расстояние до Москвы всегда считается не до окраины, а до почтамта. Ну как же, он отлично помнит здание почтамта и глухую стену дома напротив с огромным рекламным плакатом в три этажа: «Я ем повидло и джем». Этот плакат виден, когда сходишь с трамвая у Кировских ворот. Деревья на бульваре тоже полуголые. Желтые листья бесшумно и неторопливо падают на рельсы, и на съезде с бульвара,

наверно, стоит дощечка: «Листопад»; это — для вагоновожатых, чтобы аккуратнее тормозили...

Танк уже прошел мимо углового дома, миновал его низкие сводчатые ворота и какую-то лавчонку рядом с ними. Выборнов скосил глаза и увидел окурок, брошенный им и лежащий на желтых листьях,— вот бы сейчас затянуться! Пожалуй, покурить уже не придется, если не ударить сейчас прямо в башню, да так, чтобы без рикошета. Или попробовать сперва по гусенице? А если первым снарядом не пробьешь? Останется ли время на второй выстрел? Как поступил бы сейчас Казначеев? Наверно, он уже добрался до госпиталя. «Обуглись, а выстой!» А лечь в чужую землю кому же охота? Здесь и цветов на могилу никто не принесет... Неудачно получилось с Казначеевым. Вот теперь он, замковый, должен отвечать за весь расчет. Знают ли товарищи, что их жизнь сейчас зависит от его спокойствия, от того, как он повернет пальцами левой руки механизм наводки? Одна минута, может быть, какая-нибудь доля минуты дана сейчас Выборнову. В этот маленький срок он должен уложить все свое умение, всю свою злость. Позже они уже будут ни к чему. И если он не выстоит сейчас, его вместе с товарищами похоронят в неуютной, черствой, чужой земле.

О многом можно успеть подумать и многое вспомнить в ничтожную долю минуты, за несколько секунд, необходимых танку, чтобы пройти на полном ходу мимо ворот и лавчонки рядом с ней.

Выборнов произвел выстрел по башне, но снаряд только чиркнул по округлой броне и ушел рикошетом в сторону. Выборнов почувствовал, как за одно мгновение вымок весь — от затылка до пяток. Противный холодок пробежал по спине.

Но почему же фашисты не стреляют? Или просто хотят раздавить пушку и расчет? Он не отрывал взгляда от танка, дрожавшего в перекрестии прицела. Танк шел, не сбавляя хода. Выборнов, не оборачиваясь, отчетливо представил себе лица всех людей расчета.

У Самойленка дрожат губы. Как всегда, он шепчет себе под нос ругательства и горячится.

Боконбаев так спокоен, что со стороны может показаться беззаботным.

Лицо Мельникова сосредоточенно, у рта легли суровые складки. Он изо всех сил старается казаться спокойным. Лицо его покрыто кирпичной пылью, но Выборнов знает, что все оно в веснушках, даже на ушах веснушки.

Рядом с Мельниковым возникает почему-то лицо Леночки, будто она тоже номер расчета и хлопочет у пушки. Где она сейчас? На заводе? И в сознании мелькает картина его цеха.

Он работал мастером пролета поршневых колец. Несколько раз ему предлагали стать сменным мастером цеха, но каждый раз он находил повод, чтобы уклониться от повышения: все-таки ответственность, вдруг не справится?

Только бы ему вернуться в сборочный цех после войны! Нет, он теперь не станет отказываться, сам попросится в сменные мастера и знает, что Георгий Михайлович поставит его на эту должность, не задумается.

Бег мыслей опережает отсчет секунд и метров. Танк поравнялся с третьим от угла домом, и тотчас же страшный удар потряс все вокруг.

Выборнова швырнуло на землю, он упал и, может быть, даже пролежал секунду в беспамятстве, но сразу же очнулся, открыл глаза и очень удивился, увидев над собой невредимое предзакатное небо.

Он поднялся на ноги и огляделся. Афишная тумба с обрывками почерневшей афиши покосилась, садовая скамейка расщеплена.

Боконбаев лежал на желтой листве, так и не выпустив из рук снаряда — подносчик прижал снаряд к груди в свою смертную минуту.

Самойленок закрывал замок пушки и при этом что-то кричал.

По щеке Мельникова стекала струйка крови, и казалось, что это — алый ремешок, на котором держится каска.

Выборнов рванулся к прицелу и увидел, что тот разбит. Он не слышал ничего, кроме шума в ушах. Не слышал тяжелой поступи «пантеры», хотя она была уже так близко, что доносился ее горячий запах — душный и сладковатый запах отработанного газойля.

«Обуглись, а выстой!» — опять вспомнил Выборнов.

Он молниеносно навел пушку по стволу и выстрелил, целясь в башню.

Спустя мгновение Выборнов увидел, что танк стоит, упершись в стену дома, и дымится. Сослепу танк въехал на тротуар и проломил стену. Пробоина в башне не была видна, дым из нее валил, как из трубы.

Радист в танке был жив — по орудийному щиту нетерпеливо и зло простучали пули. Затем горящий фашист выскочил из переднего люка. Он еще успел пробежать в смертном отчаянии несколько шагов, но тут же, раскинув руки, упал навзничь на тротуар, на толченое стекло. Волосы его быстро сгорели, лицо почернело, короткая куртка его с розовым кантом на погонах продолжала тлеть, в подсумке на поясе впустую рвались патроны.

В танке что-то взрывалось, и он чадил черным дымом, затмившим полнеба.

Солнце только что скрылось за разбитой крышей, но пепельно-кровавое зарево заката еще не погасло. И дым, подсвеченный сзади, был зловещего багрового цвета.

С того момента, как из-за угла дома появился танк, прошло не больше одной минуты — как много и как мало!

Выборнов склонился над Боконбаевым, лежащим на желтых листьях, но тотчас же услышал характерное громыхание гусениц по мостовой. Он вскочил и кинулся обратно к разбитому прицелу.

Второй танк выскочил из-за левофлангового дома на полном ходу, как и первый. Но Выборнов не ощутил былой неуверенности и острой тревоги.

За орудийным щитом стоял не второй номер, а командир расчета, полновластный и ответственный хозяин пушки и людей, с которыми он воевал вместе много месяцев, а сверх того, еще одну минуту.

1945

Как всегда, казалось, что все осколки, сколько их ни есть, свистят близко-близко, у самого уха.

Иные действительно просвистели совсем рядом, но Третьяков все-таки благополучно пробежал по заснеженной мостовой, исклеванной минами, завернул за угол и добрался до командного пункта батальона.

Он постоял на ступеньках лестницы, отдышался, а затем спустился в подвал. Потолок не позволял Третьякову вытянуться во весь рост. Но и стоя в неудобной позе, ссутулившись, он по-строевому пристукнул сапогами, отдал честь комбату и отдернул руку так резко, будто обжег ее о каску.

Комбат сидел в плюшевом кресле с картой на коленях. Адъютант стоял за высокой спинкой кресла и держал огарок свечи.

— Второй номер савельевского расчета,— отрекомендовал кому-то комбат Третьякова.

Третьяков приосанился.

— А это,— продолжал комбат, обращаясь к Третья-

кову, стоящему навытяжку,— сержант Приходько. Ваш новый командир.

Из темного угла шагнул человек в мятой, закопченной шинели, туго перехваченной ремнем, и в ушанке с оторванным ухом.

Третьяков козырнул, но при этом довольно бесцеремонно оглядел сержанта с ног до головы и, судя по выражению лица, остался осмотром недоволен. Как-то не внушали доверия тонкие руки и застенчивый румянец на безбородом, почти юношеском лице.

— Ну что же, бой не ждет. Бывайте живы и здоровы,— заторопил их комбат.— А вам, Приходько, я доверил не простой пулемет. Наследство Савельева! Вся дивизия знает. Так что славу Савельева не уроните, не запачкайте.

Приходько молча откозырял, ни в чем не заверил комбата и не дал ему никаких обещаний.

Третьяков еще раз недружелюбно осмотрел сержанта, его ушанку с оторванным ухом и молча, не оборачиваясь, направился к выходу.

Третьяков шел не спеша, не забегал при близких разрывах под своды ворот, в подъезды домов. Он прошел с полквартала и обернулся.

Приходько послушно следовал за ним, ничем не обнаруживая страха. Был ли он в самом деле равнодушен к опасности или не хотел ударить лицом в грязь перед вторым номером?

«Подумаешь, герой! Что он, от осколков застраховался, гуляет? Тоже нашел себе парк культуры и отдыха! — все больше раздражался Третьяков.— Был бы хоть званием постарше. Такой же сержант! И что им приспичило? Четыре дня без Савельева воевал, ничем, слава богу, не проштрафился. И вдруг — пожалуйста! Ходи тут по самому пеклу взад-вперед. И главное, еще неизвестно, что это за птица такая. Может, мы пустой билетик вытянули? Я ведь тоже, слава богу, не первый день за пулеметом. Рядом с Савельевым сколько пролежал...»

Третьяков шмыгнул в ворота углового зеленого дома. Пулемет стоял в кондитерской, уставив ствол прямо в разбитую зеркальную витрину. Когда не вели огня и запах пороха и горелого масла не заглушал все остальные,

в кондитерской вкусно пахло ванилью, тмином и еще чем-то соблазнительно-аппетитным...

Третьяков представил командиру подносчиков расчета Горбаня и Кривоносова.

— Первый подносчик савельевского расчета рядовой Горбань! — торжественно и громогласно объявил Третьяков.— Был ранен вместе с Савельевым, Тимофеем Васильевичем. Остался в строю. А вот второй подносчик савельевского расчета, рядовой Кривоносов.

Кривоносов смотрел на нового командира с благодушным любопытством, Горбань — недоверчиво, выжидательно.

Приходько был доволен тем, что попал в знаменитый расчет. Но в том, как Третьяков представлял ему товарищей, как подчеркивал их близость к Савельеву и как охотно произносил эту фамилию, Приходько почувствовал желание уязвить его.

«Лучше бы мне воевать в другом расчете!» — с горечью подумал Приходько, но не подал виду, что обижен. Он поздоровался с подносчиками и спросил про обстановку.

Из окна кондитерской хорошо просматривалась улица, уходящая к площади с киркой. Бой перекинулся в район площади, и пулеметчикам пришло время менять огневую позицию.

Приходько тотчас ушел вперед, а расчет с «максимом» двинулся следом по тротуару. На ступеньках подъездов лежал нетронутый снег, будто дома были давно необитаемы.

Третьяков поджидал с расчетом под сводом ворот крайнего дома, выходящего фасадом на площадь. Площадь была в наших руках, но с кирки еще строчил вражеский пулемет.

Вскоре Приходько вернулся, взял две гранаты и, не вдаваясь в объяснения, принялся надевать на себя неизвестно где добытый белый халат. Он туго подпоясался, подвесил гранаты и сказал просто:

— Ну, я пойду вместе с разведчиками повоюю.

— Может, и мне податься? — предложил Третьяков.

— Я один.

Командир взвода разведчиков одобрил план Приходько. Под прикрытием дымовой завесы надо было

добраться до паперти, ворваться в кирку и блокировать фашистских пулеметчиков на колокольне.

Приходько долго не возвращался, и Третьяков начал по-настоящему беспокоиться, хотя и притворялся рассерженным:

— Что же он там думает? Весь день будем загорать в этих воротах?

Когда Приходько вернулся, халат его был в грязно-рыжих пятнах, ушанка стала оранжевой от кирпичной пыли, лицо — в потеках от грязного пота.

— Можно двигаться,— сказал Приходько, не вдаваясь в подробности.

Третьяков сгорал от любопытства, но решил ничего не расспрашивать.

Горбань напялил на Приходько каску поверх порыжевшей ушанки.

— Савельева, Тимофея Васильевича, головной убор,— пояснил Горбань.

Приходько опустил каску ниже на глаза и зашагал вперед. Расчет благополучно добрался до кирки, около которой, чуть ли не на самой паперти, стояла будка телефона-автомата. Высокие черные двери кирки были распахнуты настежь.

Приходько показал на колокольню.

— Это на такую верхотуру лезть? — спросил Третьяков и подчеркнуто резко запрокинул голову, так что каска съехала на затылок.

— Обязательно,— подтвердил Приходько, занятый пулеметом; он даже не повернул головы.

Третьяков разочарованно свистнул и принялся ворчать так, чтобы Приходько его слышал:

— На земле уже места нету. Наверх переезжаем. Только жалко, парашютов не выдали: обратно сигать оттуда, с колокольни. А то лифт, наверно, не работает!

Третьякову была по душе эта дерзкая затея, но ворчал и зубоскалил он всегда. А сейчас Третьяков был еще обижен, что командир не нашел нужным с ним посоветоваться, как это делал Савельев.

Приходько не обратил внимания на болтовню Третьякова, тем более что тот уже впрягся в пулемет и потащил его по крутой витой лестнице. Кривоносов подтал-

кивал «максим» сзади. Третьяков перевел дыхание, кивнул наверх, где за изгибом лестницы скрылся Приходько, и сказал:

— Все-таки дело понимает.

Кривоносов никак не откликнулся на эту похвалу. То ли не понял, к кому она относится, то ли вконец запыхался и ему было не до разговоров.

Приходько, пригнувшись, пролез в узкую дверь на чердачок. Такая же дверь вела отсюда на площадку, где висели колокола. Скошенные грани потолка делали помещение еще более тесным, и только посредине чердачка можно было стоять не согнувшись.

Приходько выбил стекло рыльцем пулемета и установил его в слуховом окошке. Горбань, по его приказу, отбил сбоку несколько кирпичей. Приходько долго вглядывался в панораму города, открывшуюся его взору, высчитывал что-то с карандашом в руках, записывал на стене и наконец, довольный, залег за щитком.

— Отсюда и до царствия небесного недалеко,— сказал Третьяков, осмотревшись.

Он сразу же заинтересовался телефоном, стоящим в углу.

— Работает! — вскричал он в восторге.— Немцы по-своему лопочут! Алло! Это я говорю, Третьяков. Гитлеру капут! Понятно? И вам капут. Вер, вер... Надо слушать ухом, а не брюхом. Третьяков, Семен Петрович. Вер... вер... Дело твое. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Ну и черт с тобой, глухая тетеря! — Третьяков с раздражением бросил трубку и отер пот со лба: — Это же нервы надо иметь с этими немцами! Публика, доложу я вам. «Здорово, кума!» — «Купила петуха...»

Подносчики хохотали во все горло. Приходько не перебивал Третьякова, но когда тот бросил трубку, сразу подозвал Кривоносова:

— Возьмите вот эту запасную катушку с проводом. На углу за бензиновой колонкой перережьте провод. Подключите катушку и ползите по тому переулку, где горит танк, к нашим. Найдите КП батальона. Пусть связисты подключат нас к комбату. Понятно?

— Понятно,— неуверенно ответил Кривоносов.

Он боялся что-нибудь напутать и заранее виновато хлопал глазами.

— Смотри, Кривоносов! Непременно дотяни нитку до комбата,— вмешался Третьяков.— Правда, телефон-автомат внизу стоит. Но, сам понимаешь, звонить оттуда неудобно. Каждый раз бегать вниз! Да и мелкой разменной монеты нету.

— Где ее найдешь, мелкую монету? — подтвердил Кривоносов.

Он вообще не понимал шуток.

Из окошка, вознесенного на высоту восьмого этажа, открывался великолепный вид. Сейчас, в послеполуденный час, снег на крышах был только чуть светлее неба. Отчетливо виднелись антенны на крышах ближних домов. Острый шпиль ратуши на горизонте был подобен огромному штыку, воткнутому в серое небо. Кое-где из труб поднимались дымки, печи в опустевших квартирах еще не успели остыть.

Широкая улица, идущая от площади прямо на запад, простреливалась очень хорошо. Неуязвимый для пулемета узкий переулок соединял улицу с мостом через реку. Мост также простреливался хорошо.

На мосту и на северной набережной столпились вражеские орудия, машины, повозки, и первая очередь Приходько подняла страшный переполох.

Третьяков лежал рядом и смотрел в бинокль. От восторга он сквернословил, кричал: «А ну, дай им жизни!», не глядя, привычным жестом расправлял ленту, чтобы ее не перекашивало и опять сыпал ругательствами.

Горбань стоял сзади на коленях и терпеливо ждал хоть какой-нибудь информации, но потом не выдержал и принялся бить Третьякова между лопаток:

— Ну что там, Семен Петрович? Что?

Третьяков не слышал вопросов, не чувствовал ударов тяжелого горбаневского кулака, размером с солдатский котелок.

Нужно сказать, что Приходько был выдающимся пулеметчиком и прежде славился своим искусством во всем партизанском крае от Лепеля до Бегомля, Плещениц и Зембина. Петрусь Приходько пришел в партизанский отряд «Мститель» еще подростком. Он сразу был приставлен к пулемету и не расставался с ним в лесах и в болотах три года, а потом, когда попал в Красную Армию, прошел с пулеметом Белоруссию и Литву.

У партизан он научился спокойной злости в бою, молчаливости, стал злопамятным. И в Восточной Пруссии каждый фашист представлялся Петрусю карателем.

Приходько мог бить из пулемета одиночными пулями, как из винтовки; короткими очередями, будто под рукой у него вовсе не станковый пулемет, а автомат; наконец, когда дело доходило до длинных очередей, он в совершенстве вел огонь с рассеиванием в глубину или по фронту.

К тому моменту, когда Третьяков заложил четвертую ленту, на мосту творилось что-то невообразимое. Повозки, орудия, лошади, машины, люди — все это громоздилось безжизненной грудой, завалившей мост поверх перил.

Приходько отвел прищуренный глаз от прицела и в изнеможении откинулся назад. Горбань припал к пулемету. Третьяков показал ему рукой в сторону моста; оба замерли.

— Переживать некогда,— деловито сказал Приходько.— Нас наверняка засекли. Скоро дадут сдачи. Воды, ленту!

За неимением воды Горбань, кряхтя и сокрушенно вздыхая, налил в кожух трофейного пива, которое притащил из какой-то ближней пивнушки.

Вообще он отличался удивительным умением все и вовремя доставать, за что Савельев прозвал его интендантом. Горбань и внешне был похож на кладовщика или на повара — полысевший, грузный, с плечами, которым тесно в любой шинели. Он поправлялся даже в госпиталях и оба раза после ранений возвращался оттуда цветущий, как из дома отдыха.

Горбань, который казался увальнем, был очень расторопен, все делал ловко, умело. Вот и сейчас он быстро подготовил пулемет, и Приходько обрушился огнем на набережную, а потом принялся «подметать» широкую улицу. Бой за кварталы между площадью и мостом был в самом разгаре.

Приходько часто и нетерпеливо оглядывался на дверь — где же Кривоносов?

Наступал торопливый январский вечер, в предвечерних сумерках стал виден огонь, который трепетно бился на жале пулемета. Приходько боялся, что батареи про-

тивника обрушатся на кирку до того, как он сообщит комбату их ориентиры и успеет прокорректировать огонь своих пушек.

Донесся слабый писк зуммера. Третьяков подскочил к телефону:

— Товарищ одиннадцатый! Докладывает сержант Третьяков. Из савельевского расчета.

«Опять савельевский! — с обидой подумал Приходько.— А я, выходит, сбоку-припеку. Что это он: по привычке или нарочно?»

— Находимся на колокольне,— продолжал докладывать Третьяков, полагая, что говорит с капитаном.— Наблюдаем, товарищ одиннадцатый!

— Что же ты меня, братец, в звании снижаешь? — послышался в трубке добродушный бас.— Какой же я тебе одиннадцатый? За что это? Тем более, город вот берем... Нехорошо, братец! Это Шабалов говорит, большой хозяин. Алло!..

Третьяков не сразу нашелся что ответить генералу и передал трубку Приходько. Значит, Кривоносов опять что-то напутал...

— Он бы еще к маршалу подключился! На прямой провод! — прошептал Третьяков.

— А вы не смущайтесь,— донесся тот же добродушный бас.— Что в пономари определились — молодцы! К заутрене звонить фашистам не будем. Прямо на панихиду. Что интересного увидите — расскажите. Я ведь старик любопытный. А пушкари мои — тем более...

Приходько едва успел сообщить генералу о пробке на мосту, как мимо колокольни просвистел, примеряясь, снаряд, за ним второй, и тут же, казалось, наступил конец света.

Колокольня качнулась, оголенные стены, мгновенно сбросившие с себя штукатурку, едва устояли. Пол на какую-то долю секунды выскользнул из-под ног, но тут же снова стал устойчивым.

Приходько отбросило от телефона к лестнице. Третьяков проехал с пулеметом на середину чердачка. Горбань, стоявший на коленях, стукнулся головой об пол, будто в молитвенном рвении начал класть поклоны. Тяжелый медный гул потревоженных колоколов стоял в ушах.

— Первый звонок! — мрачно объявил Третьяков.— Опять попали в вагон для некурящих.

Кривоносов, появившийся вскоре на чердачке, сообщил, что снаряд вырвал угол башни под ними и несколько ступенек лестницы.

Когда кирпичная пыль улеглась, Приходько снова лег за пулемет. Город был освещен заревом горящих домов. Пожары спорили с наступающей темнотой, так что, наперекор вечеру, становилось все светлее.

Загорелись дома за киркой, и острый шпиль ее стал теперь виден в оранжевом небе совсем отчетливо.

— Вниз можно пройти? — спросил Приходько, не отрываясь от пулемета.

— Проберемся! — весело ответил Горбань, выглянув вниз на лестницу.

В глубине души он был очень доволен, что командир решил наконец покинуть эту проклятую колокольню. Пора, давно пора сменить огневую позицию!

— Так вот, Горбань. Отправляйтесь за пивом. Тут еще войны на весь вечер. Связь тоже проверьте.

Приходько раскраснелся, глаза смотрели с юношеским задором, но слова и жесты были спокойны и медлительны не по возрасту.

«Ну-ну! — залюбовался Горбань.— Характером не уступит Савельеву. Тоже заводной!»

Горбань быстро подавил шевельнувшееся в нем желание уйти от опасности. Его снова охватил азарт боя.

— А Кривоносов,— продолжал Приходько,— пусть сходит за патронами. Дорогу в батальон знает. Только вот что: трассирующих не брать. А то нас ночью сразу причешут. Понятно?

— Значит, заметных не брать? — переспросил встревоженный Кривоносов.— Брать, которые незаметные?

— Вот именно.

Кривоносов постоял и беззвучно пошевелил губами, заучивая приказ.

Подносчики пересекли площадь, свернули на знакомую улицу и пошли посередине мостовой, чтобы не промочить валенок. Снег на тротуарах возле горящих домов и на крышах стаял, из водосточных труб хлестала горячая вода.

Горбань набрал этой воды в бидон. Идти в пивную

было уже незачем, и он отправился с Кривоносовым за патронами, опасаясь, как бы тот чего не напутал.

Вновь пошел снег. Он шел вперемешку с дождем жалящих искр, и белые снежинки, подсвеченные заревом, тоже казались искрами. У горящих домов снежинки таяли в чадном, удушливом воздухе.

Угловой дом с кондитерской тоже был объят пламенем. Огонь выбивался из окон, балконных дверей, словно ему тесно стало в доме. Еще недавно все пламя было одноцветным, а сейчас в густом сумраке стали видны все его оттенки — от слепяще-белого до черно-багрового.

— Есть от чего прикурить! — сказал Горбань и зло усмехнулся.

Кривоносов сокрушенно вздохнул, остановился перед домом с кондитерской и поднял голову, защитив лицо локтем, как это делают сталевары, когда подходят к огнедышащему окну мартена.

— Огнем горит город! — сказал Кривоносов и вздохнул.— Горит, а тушить некому.

— Пусть горит! — сказал Горбань жестко.— Не жалко! А наших городов Гитлер мало спалил? Взять у нас, в Локотне. Из сорока дворов три убереглись от огня. И то на выселках стояли.

Кривоносов не решился спорить с Горбанем, но опять вздохнул и уставился на горящий дом с явным сожалением.

На патронном пункте, удобно расположившемся в вестибюле какого-то особняка, оба до отказа нагрузились коробками. Горбань, в прошлом волжский грузчик, взвалил на себя вдвое больше, чем щуплый Кривоносов.

— Куда вам столько? Не дотащите...— усомнился старшина.

— Нам много требуется,— солидно объяснил Горбань.— Сами знаете: савельевский расчет. На усиленном боевом питании. Сейчас тоже подходящий хлопец командует. Приходько, из партизанского сословия. Слыхали про такого?

— Нет, не слыхал.

— Не слыхали? Вот дает фашистам жизни! Пожалуй, не хуже Савельева...

Обратный путь был еще труднее. Горящие головни летали вокруг, на улице совсем по-весеннему журчали

ручейки. Воздух обжигал дыхание. Горбань и Кривоносов обливались пóтом, мгновенно высыхавшим от жары. Горбань только щурился и продолжал нести свою тяжелую ношу, не замедляя шага.

На площади было прохладнее, темнее и снег шел гуще — снежинки не таяли на лету.

Горбань запрокинул голову и увидел на колокольне несколько новых пробоин. Снаряды ударили выше чердачка. У Горбаня возникло ощущение неловкости, будто он намеренно оставил товарищей под огнем, а сам под благовидным предлогом улизнул.

Приходько продолжал работать, очереди его гремели над площадью.

«Наверно, запасной ствол достали. Один ствол такой стрельбы не выдержит. Чешут и чешут!» — подумал Горбань. Догадка его была правильна.

Вскоре после ухода подносчиков в кожухе выкипело пиво, его долили еще раз. Потом Приходько, огорченный и злой, откинулся от пулемета: раскаленный ствол требовал отдыха.

И тогда Третьяков достал какой-то продолговатый сверток, завернутый в белую тряпку, развернул ее и вытащил оттуда ствол «максима». Белая тряпка оказалась, к удивлению Приходько, нательной рубахой.

— Тимофея Васильевича рубаха! — сказал Третьяков почтительно.— Он за этим запасным стволом, как за младенцем, смотрел.

Третьяков быстро установил этот запасной ствол, а старый, разгоряченный боем, завернул в ту же рубаху. Потом бережно взял на руки теплый сверток и отнес его в угол.

Приходько молча приник к пулемету. Он благодарил мысленно человека, которого не знал и который выручил его в бою.

Запасной ствол работал безотказно, очереди снова загремели над притихшей площадью, и Горбаню внизу слышно было, как стеклянная дверь будки телефона-автомата отзывалась пулемету жалобным дребезжаньем.

Горбань подождал отставшего Кривоносова и начал уже подниматься по каменным ступеням, но не успел ступить на паперть, как над его головой прошелестел снаряд и внезапная сила разрыва потрясла колокольню.

Куски кирпича упали на каменные плиты паперти и на широкие ступени. Горбань взглянул вверх, но ничего не разглядел за кирпичной пылью. Пулемет замолк, и когда это дошло до сознания Горбаня, он что-то крикнул Кривоносову и бросился в кирку. Острое предчувствие несчастья сжало сердце.

Значит, конец? Нет больше пулемета, нет Третьякова и этого нового командира, Приходько, которого он встретил так недоверчиво и которого уже полюбил? Еще днем он про себя называл Приходько мальчишкой, а сейчас в тревоге подумал, что Приходько ему в сыновья годится. Куда же девать патроны и бидон с водой? Бросить? Тащить обратно? А он уже мысленно так обстоятельно доложил Приходько о выполнении задания: «Доставлено четырнадцать лент. Трассирующих не брали». Он сам, не доверяя старшине и Кривоносову, проверил все коробки. Как же теперь с патронами?

Горбань понимал, что тревожится о пустяках, это его сердило, но мысль все время возвращалась к патронам, воде — он боялся подумать о другом.

В первое мгновение Горбань не узнал чердачка. Снаряд вышиб кирпичи рядом с окошком, разворотил амбразуру. Отсветы пожара освещали покатые стены и пол. Приходько лежал в углу. Третьяков — у пулемета, отброшенного к задней стене. Смятый пулемет стоял в пивной луже, пиво в отверстии кожуха пенилось и пузырилось.

Горбань упал на колени, склонился над Приходько, начал его ощупывать и тормошить.

— Отзвонились — и с колокольни долой,— подал голос Третьяков.— Командир живой?

— Оглушило.

— Командира вниз несите. А я тут полежу, отдохну. Лестница-то как — цела? Потом сам спущусь.

Он не знал еще, что ноги у него раздроблены выше колен.

Приходько пришел в себя на паперти. Он пытался что-то сказать, но только помычал и покорно замолк, удрученный внезапной немотой. Он снял каску и показал Горбаню вмятину на ней. Тот покачал головой и сказал:

— Спасибо Тимофею Васильевичу!

Горбань спохватился, подтянулся и доложил о вы-

полнении задания, но тут же убедился, что Приходько не слышит.

Подносчики бережно снесли Третьякова вниз и положили на паперти. Снег под ним быстро потемнел от крови. В сумерках казалось, что снег растаял.

Горбань еще три раза взбирался на чердачок. Сперва он принес патроны и ствол, завернутый в рубаху Савельева. Ствол еще не остыл, рубаха хранила его тепло, как тепло человеческого тела. Потом Горбань приволок вдребезги разбитый станок пулемета. И ни к чему он был сейчас, но бросать пулемет наверху не хотелось, это было бы неуважением к подвигу товарищей, к оружию.

Оружие на войне живет своей трудной жизнью, полной опасностей. Оно, как человек, завоевывает свою репутацию, свою славу. Оно — бессмертный свидетель воинских подвигов, судья поведения человека в бою. Оружие передается по наследству, его завещают, им награждают, оно становится источником гордости...

Третьяков очнулся, увидел Кривоносова, попытался усмехнуться, но усмешки не получилось. Гримаса боли исказила его лицо, румяное от пожара.

— А насчет меня печалиться нечего,— сказал он, собравшись с силами.— Только Верочку я свою подвел. Обещал жениться — и вот...

Потом он начал бредить, называл Приходько Тимофеем Васильевичем, все пытался отдать какой-то рапорт, сыпал ругательства и шептал: «Дай, дай им жизни...»

Третьякова похоронили на рассвете у подножия кирки, среди чужих крестов и могильных плит, покрытых снегом и присыпанных битой черепицей, щебенкой и кирпичной пылью.

Приходько нужно было отправляться в санчасть, но он подождал, пока выроют могилу, и бросил первую горсть земли. Он снял каску, за ней ушанку с оторванным ухом и поднял руку, собираясь сказать прощальные слова.

— Вечная слава герою савельевского расчета! — произнес Приходько с трудом, запинаясь на каждом слоге.

Видно было, что попытка говорить причиняет ему физическую боль. Он махнул рукой, отошел в сторону и, подкошенный головокружением, лег на снег.

Комбат Механошин, с рукой на перевязи, в шинели,

оранжево-рыжей от кирпичной пыли, тоже пришел на кладбище. Горбань вытянулся и, приложив ручищу к каске, отрапортовал:

— Пулеметный расчет Приходько, бывший Савельева, задачу выполнил! Понесли потери в живой силе и технике.

Комбат Механошин передал всем благодарность генерала, сообщил о наградах, о суточном отдыхе, который предоставлен подносчикам, и о том, что Горбань назначен вторым номером расчета. Комбат пообещал прислать за пулеметом и патронами. Бережно придерживая Приходько здоровой рукой, комбат увел его с собой в санчасть.

И строгая, не внушающая доверия тишина чужого города обступила двух людей на пустынной площади. Только откуда-то издалека доносилась приглушенная канонада.

— Похоже, весь город освободили,— сказал Кривоносов, прислушиваясь.

— Скажешь тоже — освободили! Разве ихние города освобождают? Завоевали — и всё. Тут стесняться нечего! — строго сказал Горбань.

Он чувствовал себя теперь командиром, говорил с Кривоносовым начальственным тоном, то и дело отдавал ему какие-то распоряжения. Горбань делал это с особенным удовольствием, как человек, всю войну проходивший в рядовых, который сам никогда в жизни не отдавал приказаний, а только привык их выполнять.

Горбань и Кривоносов поселились в гостиной богатой пустой квартиры. У каминных часов еще не кончился завод, часы прилежно тикали и на следующий день проводили постояльцев мелодичным звоном. Перед уходом Горбань перевел стрелки на два часа вперед, чтобы часы показывали московское время.

Город уже остыл, только в нескольких местах не унимались пожары. Многие дома обрушились, и улицы, лишенные тротуаров, были сжаты в тех местах каменными торосами. Улицы походили на замерзшие реки в крутых каменистых берегах.

Всюду видны были страшные раны и ожоги города. Фасады разрушенных домов стояли, как театральные декорации, а позади них — скрученное огнем железо,

головешки, расплавленное стекло, черная щебенка, уголь.

Пленные разбирали на площади баррикаду, рядом с ней засыпáли огромную воронку.

Улица была пустынна и мертва. Почтовые ящики набиты письмами, которым суждено остаться без ответа. Безмолвны антенны, связывающие трубы сгоревших домов. Нелепы вывески бывших магазинов. Жалки фашистские лозунги, намалеванные на стенах и заборах. Пусты автоматы — продавцы сигарет. И один только флюгер на высоком шпиле ратуши добросовестно продолжал указывать направление ветра. Маленький бронзовый всадник, венчающий флюгер, как бы стремился сорваться со шпиля и ускакать с попутным ветром в дымное небо.

У контрольного пункта за ратушей Горбань решил дождаться попутной машины, чтобы скорее догнать полк.

— А вы что за люди? — заинтересовался лейтенант, начальник контрольного пункта.— Из какой части?

— Второй номер савельевского пулеметного расчета! — представился Горбань.— Может, слышали? И в газетах писали.

— Нет, не слышал.

— Ну как же! Потом сержант Приходько тем пулеметом командовал. Знаменитость! Слыхали?

— Нет, не слышал.

— И про Приходько не слыхали? — удивился Горбань.— Как же это?

Он даже отступил на шаг от собеседника. Горбань хотел сказать всем своим видом и тоном: «Что же это вы, дорогой товарищ? Пеняйте на себя. Ничем помочь не могу».

В кузове полуторки Кривоносов уступил Горбаню место на покрышке запасного колеса, и тот принял услугу как должное. Горбань сел, а белый длинный сверток положил подле себя на колесо.

Они миновали угловой дом с кондитерской, где впервые увидали Приходько, проехали ворота, под которыми ждали его, миновали площадь и кирку с могилой Третьякова у ее подножия. Пулемета на паперти уже не было: комбат сдержал слово.

Кирка осталась далеко позади, а Горбань и Кривоносов продолжали молча смотреть на колокольню, на ее изуродованную верхушку.

Машина вырвалась из каменной тесноты городского предместья. По сторонам дороги, сколько доставал глаз, лежали теперь поля серого снега. Снег, покрытый копотью и сажей, напоминал пепел.

— Скоро нам за дело приниматься,— сказал Кривоносов.

— За делом и едем,— наставительно ответил Горбань. Он чувствовал себя обязанным наследовать все традиции расчета и поэтому, очевидно, усвоил манеру Третьякова разговаривать.— Или, думаешь, курорт для тебя на берегу моря открыли? Как же, держи карман шире! Курорт! Не забудь на диету попроситься.

— Зачем на диету? Что дадут, то и будем кушать,— миролюбиво и серьезно ответил Кривоносов.

Горбань ничего не сказал. Он с головой закутался в

плащ-палатку, прячась от леденящего, порывистого ветра. Оба сидели за кабинкой машины, но ветер все-таки дул им в лицо. Чехол «катюши», шедшей следом за полуторкой, был выгнут, как тугой парус.

Ветер дул со стороны города. Он выдувал пепел и золу с пожарищ, нес навязчивый запах гари.

1945

ПУД СОЛИ

Круглая крышка люка приподнялась, под ней зашевелилось смутное пятно. Кузовкин вскинул автомат, немедля дал очередь, и крышка захлопнулась.

Минуту спустя чугунный круг вновь приоткрылся, кто-то поднимал его с исподу плечами или головой. Высунулась рука с грязным белым платком. До Кузовкина донесся гремучий дребезг, крышка грохнулась на камни. Из водопроводного люка выглянул человек, он проворно выкарабкался, стал на ноги и, малорослый, худой, не пригибаясь побежал к воротам. Видимо, еще сидя в круглом колодце, он приметил Кузовкина и прокричал ему звонким, по-мальчишечьи ломким голосом:

— Стой! Мины! Ворота не трожь!

С ночи дежурил он в люке, чтобы предупредить освободителей. Ворота густо опутаны колючей проволокой, и неприметны зловредные провода, которые тянутся к мине.

Кузовкин со своими разведчиками сквозь колючую изгородь наблюдал за недорослем — лагерник, что ли? Вблизи можно было различить, что это белобрысый, тщедушный парнишка. Худые плечи, тонкая шея, в лагерной робе не по росту, шапки нет вовсе, волосы как пучок взъерошенной соломы.

Парнишка перерезал ножом один проводок, долго возился с другим. Мина оказалась с двумя сюрпризами, с двумя элементами неизвлекаемости. Парнишка выковырял мину из-под ворот, оттащил ее в сторону и бросил с той показной небрежностью, какую опытные саперы приберегают для обезвреженных мин. Потом он распутал проволоку и распахнул ворота настежь — добро пожаловать!

Парнишка вызвался быть поводырем у разведчиков, когда те обходили цеха авиазавода. Он рассказал, что уже три дня никого не пригоняли на работу из лагеря, расположенного на другом конце городка, а на заводе хозяйничали немецкие саперы.

Наши штурмовики умело превратили крышу сборочного цеха в жестяные лохмотья. Под дырявой крышей стояли на конвейере еще не собранные, но уже подбитые «мессершмитты».

Парнишка увязался за разведчиками, они пробирались по узким каменным ущельям, бывшим улицам и переулкам Хайлингенбайля на его северную окраину. Кузовкин уже знал, что парнишку зовут Антосем, он из Смоленска, жил на улице Первый Смоленский Ручей, мать работала на льнокомбинате. То-то Кузовкин признал родной говорок, когда парнишка заговорил возле заводских ворот.

— А лет тебе сколько? — спросил Кузовкин.

— Скоро семнадцать стукнет.

— И долго в неволе маялся?

— Три года без месяца.

— Однако.— Кузовкин покачал головой в обшарпанной каске и заново, с жалостливым любопытством поглядел на Антося...

Он где-то раздобыл себе старый ватник и мало отличался одеждой от разведчиков: весной им сподручнее шагать в телогрейках, нежели в шинелях. И погоны прикрепляют не все — разве напасешься, когда по ним все время елозит ремень автомата и лямки заплечного мешка! За спиной у Антося трофейный солдатский ранец, поперек груди трофейный автомат, загодя припрятанный в том самом люке. По дороге он подобрал каску, которой прикрыл свою соломенную копенку по самые глаза.

Антось пояснил попутчикам, что означает название городка. В переводе с немецкого на русский «Хайлингенбайль» — «священная секира», или, если проще выразиться, «священный топор».

— Вот если бы нашу Рудню так назвали...— сердито сказал Кузовкин.— У нас мужички все время топорами машут, лес рубят. А здесь на голом месте разве лесорубы жили? Палачи-рыцари головы рубили...

Антось почувствовал расположение Кузовкина к се-

бе — все-таки земляки! — осмелел и попросился к нему под начало. Ему так нужно отомстить Гитлеру, пока война не вся. Гитлер не одного его за колючий забор посадил,— всю семью оккупировал, еще две сестренки маются в неметчине.

— Я тоже когда-то мальчишкой в Красную Армию просился, в эскадрон,— вспомнил Кузовкин,— а не взяли. «Маловат ты, Кузовкин,— сказал мне комэск в красных галифе.— Ты и на коня не влезешь. А подсаживать у нас тебя некому. Так что погоди годика два...»

— Мне ждать никак нельзя,— вздохнул Антось,— сами понимаете.

— От красной кавалерии я тогда отстал, зато в этой войне долго на конной тяге находился. В обозе меня трясло,— усмехнулся Кузовкин.— А в разведчики попал уже после Немана. Активных штыков в батальоне осталось— раз-два и обчелся. Все полковые тылы под метелку подмели, а ездовых, связных, пригласили на передний край.

По правилам Антосю следовало обратиться с этой просьбой к майору Хлудову, заместителю командира полка по строевой части. Но человек он не добродушный, как с ним сговоришься, если у него душа ежом стоит? Такой Сухарь Сухарыч, его и в кипятке не размочишь...

Кузовкин пообещал взять хлопоты на себя. Придется сделать обходный маневр и поговорить, когда случай подвернется, с замполитом батальона капитаном Зиганшиным. А пока полк на марше, пусть Антось не отстает от разведчиков.

Навстречу им тянулась по дороге, испещренной воронками, пестрая, многоязыкая колонна вчерашних узников, освобожденных из лагеря в Хайлингенбайле. Многие тащили тележки, везли детские коляски, велосипеды, нагруженные скарбом. Колонна вытянулась на несколько километров. Вчерашние узники махали косынками, беретами, самодельными национальными флажками — будто вся освобожденная Европа благодарила старшего сержанта Ивана Ивановича Кузовкина и его разведотделение. Суетливый и болтливый Мамай то и дело снимал свою каску заодно с пилоткой и громогласно орал «пардон!» или «бонжур!». Однажды из колонны радостно и поспешно откликнулись на приветствие, но Мамай толь-

ко крикнул и развел ручищами — запас французских слов исчерпан.

— Слышишь? — спросил Таманцев у Антося, внезапно остановившись. Обратил счастливое лицо к северу и сделал глубокий вдох.

Антось тоже остановился, снял свою непомерно большую каску и старательно прислушался.

— Ничего не слышу.

— Морем пахнет! — Таманцев зажмурился от удовольствия.

— А я и не знаю, какое оно, море,— виновато пожал Антось плечами, угловатыми даже под телогрейкой.

Из солидарности он тоже набрал полную грудь свежего воздуха, который Таманцев признал морским.

Их обогнал лениво шагавший Мамай и бросил на ходу, ухмыляясь:

— Еще когда нашего моряка намочило, а до сих пор не высушило.

Пока Антось вел разведчиков через городок, пока вывел на шоссе, ведущее к Розенбергу, его соседи по бараку, вся колонна лагерников ушла далеко на восток. На всем белом свете не осталось у него теперь никого, кроме старшего сержанта.

В первый же день Антось узнал о дяде Ване многое. Сын у него скончался в бою под Москвой; сам до войны был десятником на лесной бирже; родом из-под Рудни, леса там богатые, сильные, чащоба. Наверно, поэтому дядю Ваню воротило с души от тутошних лесов: валежник собран, все шишки под метелку, в садах яблони и вишни стоят под номерками. А вот аисты в Восточной Пруссии не живут, и скворечника здесь тоже не увидишь.

На привале, когда разведчики отдыхали в фольварке, в подвале дома, Кузовкин передал Зиганшину просьбу Антося.

— А документы у него какие-нибудь есть?

— Есть. Номер на худой руке. А еще из документов есть смоленский говор, глаза цвета льна, вихры как спелая солома, а веснушек столько, что хватило бы на все Заречье.

— Откуда у него автомат?

— Сам добыл. Состоит на собственноручном боевом довольствии.

— Не попадет нам за эту самодеятельность?.. Парнишке семнадцати годов нету!

— Он три года без малого уже отмучился в рабстве,— разволновался Кузовкин.— Его за проволоку посадили четырнадцати лет от роду Кто же возьмет на себя такой грех — виноватить мальчишку?.. И присягу он уже дал, товарищ капитан. Можно сказать, жизнью присягнул.— От волнения Кузовкин снял каску и пригладил взлохмаченные волосы, будто так ему легче было собраться с мыслями.

— Это когда же?

— Когда остерег меня и разминировал ворота. На волоске парень висел. Мина-то с двумя сюрпризами — это вам не фунт изюму. За такие дела медалью жалуют.

— А если его вольнонаемным определить? — подумал вслух Зиганшин.

Кузовкин надел исцарапанную, с вмятиной каску и озабоченно пожал плечами: он и слыхом про таких не слыхал. Оказывается, водятся такие в армии — в хлебопекарне, например, в военторге, наборщики в дивизионной газете, подсобный персонал в госпитале.

— Спрошу в штабе полка,— обещал Зиганшин и стал внимательнее приглядываться к новичку.

Парнишка явно не робкого десятка. И откуда взялась такая спокойная и деловитая расторопность в бою? Он усерднее всех строчил из автомата, никто в отделении не расходовал больше патронов, чем он. На тыльной стороне указательного пальца у него образовалась черная мозоль, а плечо саднило. Кузовкин прибинтовал марлевые подушечки от индивидуального пакета — плечико-то у парнишки худенькое, кожа да кости, вся ключица на виду. Авось перевязочный материал убережет от боли.

За Хайлигенбайлем сплошной стеной стояли на железнодорожной ветке, один в затылок другому, груженые товарные составы. Под вагонами залегли, хоронясь за скатами, немецкие пулеметчики, а из-за этой стены, высовывая дула между вагонами, стреляли «фердинанды».

Но и такой забор, в километр длиной, не остановил полк. Антось в том бою нашел себе новое занятие—вставлял запалы в гранаты и сам швырял их за вагоны так прилежно, что едва не вывихнул себе плечо.

Следующий привал устроили за железной дорогой, в господском дворе. Догорал дом какого-то гроссбауэра; солдаты грелись возле огня, сушили одежду. В костре потрескивали половицы, наличники, ступеньки лестницы, которые не успели сгореть в доме.

Сварили котел с картошкой. У каждого в «сидоре» нашлось кое-что для общей трапезы.

— А ты чего загораешь там, во втором эшелоне? — пригласил Антося Таманцев; несмотря на несколько ранений, ему удалось сохранить румянец на толстых щеках, словно он недавно из санатория.— Мест в нашей кают-компании хватит. А банкет на паях. Что найдешь в сумке у себя, то и доставай.

Когда-то Таманцев воевал в бригаде морской пехоты под Москвой, а после госпиталя отстал от своих и уже несколько лет не расставался с «царицей полей».

— Мне доставать нечего,— потупился Антось.

— Не обсевок же ты, однако,— подтолкнул его Мамай,— не пришей — не пристегни. Найдется для тебя и провизия, и глоток для сугрева.

Кузовкин и сам позаботился бы о новеньком, не позволил бы ему воевать впроголодь, но ему было приятно внимание товарищей.

«Укоренился парень у нас».

Антось нерешительно придвинулся к костру. Таманцев уже снял котел с огня.

— Соли только не припасли. Ни у кого, славяне, не найдется? Вот на мель сели!

Антось безмолвно полез в трофейный ранец из телячьей кожи, вывернутой рыжей шерстью наружу, и достал серую тряпицу с такой же серой, крупной солью.

— Если фашистской солью не побрезгуете. Мы брюкву варили, мерзлую картошку варили. В земле зимовала, несобранная.

— А жаловался — нет ничего съедобного! — шумно обрадовался Мамай.— Первейший продукт!

— У нас на Смоленщине говорят,— Кузовкин подмигнул Антосю,— без соли стол кривой.

Закипел медный чайник, закопченный до черноты, и Антось тоже прихлебывал задымленный чай, обжигая губы кружкой. Кто-то выложил для чаепития трофейные галеты, а предприимчивый и удачливый в поисках Ма-

май — банку искусственного меда, или, по-немецки выразиться, «кунст-хониг».

Как ни жался Антось к огню, мартовский ветерок забирался за воротник, за пазуху плохо греющей телогрейки, студил ноги — скорей бы высохли портянки и прохудившиеся сапоги. Мамай удивил всех, протянув Антосю свою флягу, и тот сделал несколько нежадных глотков.

Давно не было Антосю так покойно. Он сидел, исполненный душевного доверия к этим людям, они стали ему близки после всего, что сегодня пережили вместе. Его не дадут в обиду, он и заснуть может бестревожно.

И представилось ему, что сейчас душное лето, он приехал в деревню на каникулы к дяде с тетей, а там вдруг взялся пожар. Поздние сумерки. Отчетливо видны головешки, головни, горящие пучки соломы, щепки. Они летят в сонме огненных искр, их несет поджаренным ветром. Мужики карабкались на крышу, тащили туда мокрые рядна, половики, поливали их водой. Плача, понукаемый теткой, он бегал вокруг избы с иконой в руках. Выносить вещи из дому или таскать ведра из колодца? А тут в деревню возвратилось стадо. Корова вбежала в горящий хлев, прежде чем успела заметить тетка. Корову вывели уже с паленой шерстью. Все громче трещали горящие стропила, бревна, карнизы, со звоном лопались и плавились стекла. Дядя, чем-то неуловимо похожий на старшего сержанта, не уходил с крыши, отбрасывал горящие головешки, затаптывал, заливал водой солому, едва она начинала тлеть. Вот когда маленький Антось понял, что значит железная или черепичная крыша. С того самого июньского дня «красный петух» долго летал над крышами деревень, над Россией, а теперь перелетел в Германию. Тут не видать крыш под соломой или очеретом, а пожар полыхает вполнеба...

Замполит Зиганшин сдержал слово и доложил майору Хлудову о бездомном смоленском пареньке, которого разведчики хотят оставить у себя.

— Человека можно узнать по-настоящему только после того, как съешь с ним пуд соли,— наставительно сказал Хлудов.— Понятно, товарищ капитан?

Тем временем Антось успел стать бывалым разведчиком. Он первым в отделении изучил новые немецкие

мины, наполненные жидкой взрывчаткой,— на вид совсем бутылки с кефиром. Он первый освоил трофейный фаустпатрон, держа его под мышкой, как это делают немецкие фаустники,— подсмотрел во время их дуэли с нашим танком. А во время штурма форта «Луиза» Антось пробрался из каземата через запасный лаз в склад боеприпасов, уже подготовленный к взрыву, чтобы перерезать бикфордов шнур.

Первую попытку протиснуться в лаз сделал тогда Таманцев. Но куда ему, такому упитанному, широкому в кости!

Вторым, предварительно хлебнув из фляги, в каземате появился Мамай. Он подошел к лазу, примерился плечами и тут же подался назад, сославшись на неподходящие габариты. Он изобразил на лице сожаление, но Кузовкин сразу понял, что Мамай испугался. Не мало бедовых поступков числилось за выпивохой Мамаем, хоть и вид у него такой, будто он ищет вчерашний день, а глаза вечно сонные. Как же это под самый конец войны он пришел в робость?

— Придется взять опасность в свои руки,— сказал Антось озабоченному дяде Ване.

Тщедушному Антосю лаз показался просторным; он залез туда, даже не сняв с пояса кинжал и гранату.

А на рассвете Кузовкин первым увидел перерезанный бикфордов шнур, который тянулся к складу боеприпасов.

В тот же день Кузовкин поделился с замполитом Зиганшиным своими невеселыми наблюдениями над Мамаем. Замполит сказал, что у Мамая это — «защитная реакция организма» перед концом войны. Приключается такое с нашим братом, который четыре года ходил по самому краешку жизни, столько раз заглядывал смерти в глаза и которому тем более хочется дожить до победы.

— Понять последний страх Мамая можно, но оправдать его нельзя. Всем нам, Иван Иванович, трудней, чем вчера,— тяжело вздохнул замполит.— Кто не хочет дожить? Но подымать в самую последнюю атаку — нам с тобой...

В полдень в дымном и пыльном небе над старыми башнями и островерхими крышами Кенигсберга висело по-вечернему рыжее солнце. Известковая и кирпичная

пыль порошила глаза, хрустела на зубах. Пруд, в котором отражался мутный диск, похожий больше на луну, чем на солнце, лежал старым, пыльным зеркалом. А на берегу пруда разведчики Кузовкина смывали пыль, копоть и пот войны, въевшиеся за дни штурма.

— Вымылись на славу,— сказал Таманцев.— Теперь бы получить от судьбы «добро» и дошагать до морской ванны.

Когда Таманцеву посчастливилось дойти до моря, он надел заветную тельняшку, достал из вещевого мешка мятую бескозырку, торопливо зашагал к воде своей моряцкой, чуть вразвалочку, походкой, опустился перед морем на колени, набрал полные пригоршни балтийской воды и ополоснул лицо.

Антось только читал о морях и океанах, сидя в своем сухопутном Смоленске, а тут впервые увидел море. Балтика ударила ему в глаза серо-голубым блеском. Вслед за Таманцевым он тоже ступил в кирзовых сапогах в воду, его обдало солеными брызгами.

Антось вгляделся в далекий горизонт. Вот она, «воображаемая линия, которая соединяет небо с землей». Сегодня эта воображаемая линия едва угадывалась; вода совсем такого же цвета, как небо. Но там, где рвались тяжелые снаряды с невидимых немецких кораблей, подымались высокие серо-зеленые столбы, искрящиеся на солнце. Осколки то и дело рябили воду, ломали отражение облаков и прибрежных сосен, делая их шаткими. А когда снаряды такого калибра обрушивались на косу, они выкорчевывали столетние сосны, вздымали и просеивали горы песка.

Кузовкин сидел в песчаной яме под корягой могучей сосны, не дошагавшей до моря всего с десяток метров, и ему сладко думалось о завтрашнем мирном дне, которого, казалось, уже можно коснуться рукой.

Он мечтательно разглагольствовал, и никто—ни шумливый Мамай, ни Таманцев, задумчиво глядящий на море, ни Антось, ни двое артиллеристов полковой батареи, тоже выведенной во второй эшелон,— не прерывал его.

— Наверно, у нас теперь в России стук от топоров стоит вселенский, пилы поют на тысячи голосов, рубанки шаркают. Строят дома, мосты, школы. Новые срубы у колодцев, а часовых у воды не ставят. Окон уже не за-

темняют — полное осветление жизни. Песни поют, не стесняются.

Никто не мешал Кузовкину — может, потому, что вообще он человек неразговорчивый и у него редко случались приступы внезапного красноречия. А может, потому, что каждому хотелось вообразить себе теперь уже близкие дни. Сегодня Зиганшин сообщил от имени Совинформбюро, что над берлинским рейхстагом подняли красный флаг.

Кузовкин предупредил Антося, чтобы он долго не разгуливал по берегу, не уходил далеко от убежища и не очень-то доверялся тишине — уже два часа, как не было огневого налета.

— А шпарит бризантными снарядами,— уточнил Таманцев.

— Казало лихо, что будет тихо! — прокричал Антосю вдогонку Мамай, но предупреждение его опоздало.

Небо раскололось, линия горизонта сломалась, море ушло из-под ног, а верхушки сосен засыпало песком.

Глаза Антосю застлал красный свет. В груди пекло и жгло так, будто головешка, сорванная ветром с соломенной крыши, прожгла ватник, гимнастерку, рубашку и тело.

Полковой медпункт расположился поблизости, в погребе веселой голубой дачи, наполовину скрытой дюнами,— вот она, наволочка с красным крестом висит над крылечком.

Но нести туда Антося было поздно.

— Ну что?—спросил растерянно Кузовкин, становясь на колено и сняв каску; он только что подбежал и не успел отдышаться.— Что тебе, Антось?

— Похороните в форме.

«Значит, мальчишка до последнего дня переживал, что не числится настоящим солдатом».

И сутулиться отвык, и плечи расправились, и кости обросли мясом. Будто Антось повзрослел года на два. Не верилось Кузовкину, что он прожил-провоевал рядом с Антосем всего два месяца. Конечно, пуда соли они вме-

сте не съели. Но, чтобы по-настоящему узнать человека, на войне бывает достаточно и щепотки.

Когда прощались с Антосем, замполит Зиганшин сказал:

— Ничего, что Антось паренек штатский. Он был настоящим солдатом...

Над головами голубело невредимое майское небо, опали песчинки, поднятые последней взрывной волной, море до самого горизонта лежало гладкое, будто не его кромсали, терзали, рвали снаряды.

В этой почти неправдоподобной тишине раскатисто прозвучал трехкратный ружейный выстрел.

Антося похоронили в новенькой гимнастерке с воротником, непомерно широким для его мальчишечьей шеи. То была гимнастерка с погонами артиллериста. И пушки скрестили на черном сукне свои крошечные стволы.

1970

ОДНОПОЛЧАНЕ

Мозжухин долго вглядывался в незнакомое лицо, но так ничего и не вспомнил.

На скулах пробивается сквозь загар настойчивый румянец. Глаза влажно блестят, смотрит парень не мигая. Волосы коротко острижены и лоснятся черной щетинкой. Есть что-то одновременно добродушное и хитроватое в выражении лица; такими часто кажутся курносые брюнеты.

«И с чего я взял, что парень обязательно походит на отца? — подумал Мозжухин с внезапным раздражением.— Пусть он даже похож как две капли воды. Разве всех удержишь в памяти? Тем более, этот — розовощекий, чистенький, как из бани, а отец его, наверно, ходил небритый, в грязи и копоти».

— Не может быть, товарищ полковник, чтобы совсем забыли. Ну как же! Батька мой — мужчина заметный. Первый косарь на деревне. На тимонинскую мельницу с мешком за плечами шагал, а это, знаете ли, километра полтора, никак не меньше.

— Он не в бронебойщиках ли состоял? — спросил Мозжухин, потирая лоб.

— Не могу знать.

— Может, был связным? Или снайпером охотился? Не хвалился в письмах, сколько фашистов убил?

— Таких сведений не получали. А до охоты человек был пристрастный. Особенно — если на глухарей. Вальдшнепов тоже иногда приносил...

Мозжухин сокрушенно пожал плечами.

Парень стоял все такой же подтянутый и вертел в руках письмо, сложенное треугольником.

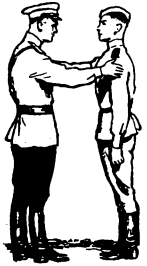
Нет, никогда им не сговориться. Да и как его вспомнить, этого Артема Петровича Короткова, если неизвестно, что он делал в полку и как выглядел?

Сын не знал фронтовой профессии отца, его занятий и привычек, а полковник, естественно, не знал примет и признаков его мирной жизни.

Но огорчать парня, который с таким усердием и настойчивостью искал и нашел полк отца, Мозжухину очень не хотелось.

Он постоял, прикрыв глаза рукой, тщетно пытаясь вызвать в памяти образ солдата. Может, тот долго жил и воевал рядом, а может, лишь промелькнул в смертной сутолоке боя. Может, Коротков-отец сутками сидел у него в блиндаже, склонившись над телефоном с наушниками, надетыми поверх пилотки. А может, Мозжухин его и в глаза не видел — и такая вещь случается на войне.

«А парнишка все-таки молодец! — подумал Мозжу-



хин с теплотой.— Пошел добровольцем, нашел полк и добился зачисления. Ну хорошо, демобилизованный сосед сообщил, где стоит полк. Но ведь это еще надо было по военкоматам поездить, добиться, добраться сюда из Сибири! И еще молодец, что не лез к начальству на глаза. Сперва обжился в полку, потом уже явился, дал прочесть письмо отца и рассказал, с каким трудом добрался».

— Значит, говоришь, охотник и прилежный ходок? Первый косарь в вашей Шайтанке?.. Как же, вспомнил! Чернявый такой? Здоровяк? Вот, вот! Вспомнил! Еще про тайгу любил рассказывать. Ну как же! Он у меня долго связным был, твой батька. Первый скороход в полку, Коротков Артем Петрович...

Лицо Короткова-сына сразу прояснилось, как если бы он шагнул из тени на свет или кто-то откинул брезентовый полог палатки, оберегающий ее прохладный сумрак.

— А вот куда он потом запропастился и где голову сложил — не уследил.— Мозжухин понизил голос: — Сам за эти годы в госпитале четыре раза гостил.

Темные немигающие глаза Короткова-сына влажно блестели, улыбка горько скривила губы.

Мозжухин шагнул к нему, обнял за плечи и молча, в приливе неожиданной нежности привлек к себе. В эту минуту Коротков чем-то напомнил Мозжухину сына Сережу.

Оставшись в одиночестве, Мозжухин, как все правдивые люди, которым пришлось соврать, долго не мог отделаться от неловкости. Он понимал, что вины его нет, но все-таки чувствовал себя виноватым в том, что не запомнил красноармейца Короткова-отца.

«А парнишку огорчать зачем же? — подумал Мозжухин, укладываясь спать.— Пусть думает об отце с уважением. Сам лучше служить будет».

Мозжухин задул свечу и вытянулся на походной койке, пахнущей холодным бельем. Он привык засыпать мгновенно, без раздумья и сборов, умел дорожить каж-

дой крупинкой непрочного фронтового сна. Как все командиры, он привык к тому, что его часто будят. Не досмотрев сна, не протерев глаз и не потянувшись вволю, полковник умел выслушивать донесения и отдавать приказания. Но на этот раз сон не приходил, и Мозжухин долго ворочался на койке, которая сразу стала скрипучей, узкой, жесткой.

Удивительно приятна все-таки стародавняя похвала неизвестного бойца! Может быть, именно потому, что Артема Петровича Короткова нет в живых, его старое письмо домой, в Шайтанку, было так трогательно. В руках сына оно выглядело почти как завещание.

В письме, сложенном треугольником, Коротков писал про майора Мозжухина, что солдатам он — отец родной, что когда он командует, ни одна плохая мысль не войдет человеку в голову, потому что по военным талантам он не уступит самому маршалу, и что если доведется когда-нибудь, не дай бог, воевать Ванюшке, то не желает ему лучшего командира, чем Захар Михайлович Мозжухин.

И откуда красноармеец Коротков узнал его имя, отчество? Не при штабе ли он состоял? Боец комендантского взвода? Надсмотрщик линии связи? Ездовой штабного обоза? Полковой разведчик?

Наивная похвала солдата взволновала Мозжухина, как самая высокая награда, как орден, который ему вдруг вручили с таким опозданием, что он его уже перестал ждать.

Кто же все-таки автор письма? Как выглядел этот Артем Коротков? И как сложилась его солдатская жизнь, оборванная то ли на родной, то ли на немецкой земле?

Перед глазами возникали в черноте ночной палатки одно за другим то смутные, то отчетливые лица солдат, которых Мозжухину довелось видеть в их смертные минуты...

Вот на двух противотанковых ружьях, связанных вместе плащ-палаткой, принесли бронебойщики на командный пункт роты и положили на мокрую землю раненого. Лицо его, давно не бритое,— в копоти и крови. Мозжухин приподнимает ему голову, перевязывает и дает пригубить фляжку с водкой.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант,— шепчет бронебойщик, с трудом шевеля губами.— Я этого никогда не забуду! Буду помнить вас всю свою жизнь.

Умер он минут через пять, на тех же самодельных носилках, и схоронили его там же, под желтой березой у самого Волоколамского шоссе.

Рядом с черным немецким танком лежит на снегу под Вязьмой солдат. В обугленной руке зажал он горлышко разбитой бутылки. По всей вероятности, он подобрался к танку вплотную и не бросил, а для верности, не выпуская из руки зажигательной бутылки, разбил ее о броню.

У входа в бетонный форт приграничного города Эйдткунен лежит в чужой земле, в окопе, ставшем для него могилой, сержант-казах. Рот его полуоткрыт, видны красивые, чуть голубоватые зубы. Мозжухин еще подумал тогда, как хорош бывал, наверное, этот сержант-казах, когда улыбался.

Он так крепко обхватил богатырской рукой ремень автомата, точно просил не разлучать его с оружием и после смерти. Но на войне свои законы, и солдат из трофейной команды обрезал ремень и отобрал автомат.

Оружие требовалось живым, чтобы мстить за мертвых.

Однако при чем же здесь белозубый сержант-казах? Он-то, во всяком случае, не был отцом Ивана Короткова!

Память была бессильна воскресить не только образ, но и самый факт существования Короткова-отца. Тяжелые воспоминания теснились и подступали к самому сердцу, будто Мозжухин только сейчас вот, впервые, в полной и беспощадной мере ощутил потери своего полка за войну.

Проснулся Мозжухин с мыслью о том же Короткове, и это его даже рассердило, потому что с утра предстояли тактические ученья дивизии, хлопот полон рот — все надо предусмотреть, учесть, запомнить.

Раннее утро встретило Мозжухина, вышедшего из палатки, холодной росой и туманом, в котором неясными пятнами белели ближние палатки. Березовая роща, подступавшая вплотную к палаткам, была подобна зеленому туману.

По соседству на батарее ржали кони, и уже доносился откуда-то из серой сырости утра окрик ездового: «Тпру-у-у, не балуй!» — окрик, переживший не одно поколение русских солдат.

Водитель машины Молодых дал Мозжухину умыться. Тот спросил, отфыркиваясь:

— Не помнишь такого солдата у нас в полку — Короткова Артема Петровича? В летах был, отец семейства. Его не то в Литве, не то на границе убили.

— Короткова? — покосился Молодых на намыленную шею полковника.— Что-то не припомню такого случая, Захар Михайлович. Корольков — был такой шофер в медсанбате, но он жив-здоров.

Во всем, что не касалось машины и дорог, Молодых был бестолков.

— Ну при чем здесь этот мальчишка Корольков? — спросил Мозжухин спокойно, не повышая тона.

— В разведчиках еще был у нас Коротеев,— продолжал Молодых, зачерпывая в кружку воды.— Так тот совсем молоденький. Тогда еще в Тапиау пострадал. Помните, Захар Михайлович? Один на том красном чердачке бой принял.

Мозжухин, держа полотенце в руках, укоризненно посмотрел на Молодых.

— А Короткова, товарищ полковник, не помню. Мыс-

лимая вещь — всех запомнить? Тут не голова нужна, а библия...

— Как? Как ты сказал? — Мозжухин даже перестал вытираться.

— Я говорю, товарищ полковник, что у меня голова — не библия. Я всех помнить не могу.

Мозжухин несколько раз подряд произнес это выражение про себя, как делал всегда, когда ему доводилось услышать что-нибудь очень интересное.

До войны он работал учителем русского языка где-то на Южном Урале, был страстным собирателем фольклора и не бросил этого увлечения на войне. Он любил вслушиваться в окопные беседы, в разговоры у походных костров, кухонь, в палатках медсанбата, а иногда даже кое-что записывал в книжечку...

Но сейчас не до того. Дивизионные ученья вот-вот начнутся, а до них еще столько нужно сделать...

К полудню Мозжухин успел несколько раз побывать у «красных» и у «синих» и уже два раза у подножия высотки, господствующей над местностью, собирал посредников с белыми нарукавными повязками и разъяснял им задачу обстоятельно, неторопливо, как бывало в классе, на уроке.

Сейчас Мозжухин уже привык, но на первых ученьях чувствовал себя весьма неуверенно. Многие офицеры ошибочно принимали полковника Мозжухина за кадрового военного и очень удивлялись, когда узнавали, что в начале войны он был всего-навсего лейтенантом запаса. Он учился военному делу на фронте, никогда не имел дела с условным противником, не вел никаких боев, кроме настоящих. И переход от войны к военной игре был для него так же труден, как первый бой для командира, который до того воевал только на полигоне.

«За кого же сегодня воюет молодой Коротков — за «синих» или за «красных»? — вдруг подумал полковник, пропуская мимо ушей донесение какого-то не в меру словоохотливого посредника.— Забыл даже спросить, где он у меня служит, в какой роте или батарее».

Мозжухин стоял на гребне высотки и всматривался влево, откуда появилась передовая цепь «синих». «Синие» должны были оседлать большак и «взорвать» мост. С высотки открывался просторный вид на окрестные по-

ля и березовые рощицы, на речку, огибающую хуторок кривым серебряным серпом, на большак, окаймленный тусклой от пыли травой.

«А ведь какому-то полку пришлось эту землю отвоевывать,— подумал Мозжухин.— И какой-то безвестный командир, наверно, сражался за господствующую высотку, на гребне которой я расхаживаю сейчас. И Молодых, ожидающий с машиной у подножия, не встревожен тем, что эта высота просматривается и простреливается противником».

Полузасыпанные землей, обмелевшие траншеи, колья от проволочных заграждений на опушке рощи, отчетливо очерченной после того, как туман улетучился, обугленные березы на обочине большака, разбитая мельница у моста — следы давно отгремевшего боя.

Судя по всему и прежде всего по числу воронок, заросших многолетней травой, бой был упорным. Любопытно, конечно, было бы узнать, как именно разыгрался этот далекий бой, каковы были его перипетии и жаркие подробности. Как знать, не здесь ли воевал полк, в котором служил его Сережа? Но таких справок местность не давала.

Мимо старых воронок тянулась по большаку батарея «синих», и Мозжухин с удовольствием оглядел сытых, подобранных в масть вороных коней, которые сейчас были покрыты таким густым слоем пыли, будто на них набросили серые попоны.

Левее высотки по пыльной, блеклой траве шагали минометчики; вылинявшие гимнастерки их были под цвет травы. Минометчики меняли огневую позицию и перетаскивали минометы на себе в разобранном виде.

Мозжухин скользнул взглядом по нестройной цепочке солдат и почти тотчас же увидел молодого Короткова. Широкоплечий парень шагал легко, даже весело, хотя и был навьючен лотками с минами. Потом Коротков отдал лотки соседу, сам же взвалил на спину плиту, самую тяжелую часть миномета. Но и сейчас он продолжал шагать легко; это не была походка человека, несущего тяжелый груз.

И снова Иван Коротков то ли фигурой, то ли походкой удивительно остро напомнил Мозжухину его Сережу.

— Сынок! — прошептал Мозжухин с неожиданной тоской.

Всю войну, даже после трагического известия, Мозжухин представлял себе сына таким, каким видел его в последний раз,— школьником, рослым не по годам. Сережа пришел провожать их эшелон в сандалиях на босу ногу, в вышитой парусиновой рубашке; мальчишеский вихор непослушно падал на лоб.

Жена писала потом, что призывной участок помещался в школе, а врачебная комиссия работала в учительской. Он отчетливо видел, как Сережа, обнаженный по пояс, с юношески гибким торсом, стоял в учительской у карты обоих полушарий, против портрета молодого Максима Горького.

Он знал, что Сережу остригли, что его обули в сапоги, но все-таки, когда пытался представить себе сына в бою, тот возникал перед глазами с непослушным вихром и в сандалиях на босу ногу.

Долго и печально глядел Мозжухин на плиту миномета, которая мерно покачивалась на широкой спине Короткова и все уменьшалась, так что скоро стала размером с диск автомата, не более.

Солнце палило немилосердно, день выдался знойный, каких мало знает белорусское лето. Ворот гимнастерки теснил шею больше, чем всегда, и Мозжухин думал, что это от жары. Одно-единственное облако заблудилось в небе, которое тоже чуть-чуть выцвело и поблекло под лучами солнца. Мозжухин проводил взглядом облако, нашел, что оно похоже на шкуру белого медведя. Стало еще жарче, и ему опять захотелось расстегнуть ворот гимнастерки.

Потом горнисты протрубили долгожданный отбой, ученья закончились, перестали существовать «синие» и «красные», воскресли «убитые», вернулись в строй «пленные», выздоровели «раненые». Посредники сняли белые повязки. Все отдыхали в спасительной тени берез.

Вечером, после разбора тактических учений, полковник обошел батальоны, где уже царила веселая суета, как всегда перед ужином.

Минометчики расположились на опушке рощи, по соседству дымила кухня. Проходя мимо, Мозжухин услышал голоса и смех на лужайке. Он замедлил шаг, а затем

остановился за пучком берез, растущих в обнимку из одного корня. Зачем мешать веселью? Вот так же, бывало, он обходил стороной стайку шалунов-школьников, чтобы не спугнуть их.

Полковник так и остался стоять, никем не замеченный, за этой многосемейной березой.

Старший сержант, по всей видимости сверхсрочник, страшно важничая, рассказывал о поездке в Москву с какой-то делегацией:

— Жили мы в гостинице Москва — Гранд-отель. На манер интуристов. Посещали большие и малые академические театры Союза ССР. Ездили в легковых машинах или, на крайний случай, в двухэтажных троллейбусах.

— Слышали уже про вашу поездку! — отозвался горластый паренек, сидящий на пне.— О вас по всей Москве в три лаптя звонили...

Паренек, видимо, знал себе цену. Совсем как актер в театре, он сделал паузу, подождал, пока все отсмеются, и уже потом совершенно серьезно спросил:

— Это не вы там, в метро, от портянок запонки потеряли? По радио даже искали...

«От портянок запонки»,— повторил про себя Мозжухин и усмехнулся.

Больше за смехом ничего нельзя было расслышать. Тот же паренек принялся подшучивать над товарищами, которые уплетали по второму котелку каши.

— А Коротков, как я погляжу, горазд поесть. Второй час ложкой работает, не ленится.

Полковник выглянул из-за березы, его никто не заметил, и непринужденная беседа продолжалась. Молодого Короткова Мозжухин узнал со спины. Тот стоял на коленях перед котелком и прилежно орудовал ложкой. В задире он признал того самого тщедушного паренька, которому Коротков помог тащить плиту миномета.

— Мимо не проносишь,— не отставал от Короткова паренек.— У тебя рот как раз на дороге. И где ты только такой аппетит нагулял? Вроде и не работал...

— Как работать — мальчики, как обедать — мужики,— миролюбиво, в тон пареньку, ответил Коротков, занятый едой.

Мозжухин даже качнулся и оперся рукой о дерево. Его оглушило воспоминание, сильное, как удар,

внезапное, как выстрел над ухом. Он пошел прочь, все убыстряя шаг, точно надеялся быстрой ходьбой унять сердцебиение.

«Как работать — мальчики, как обедать — мужики!»

Ну конечно же, это он! И та же крестьянская манера бережно нести ложку над ломтем хлеба, чтобы несколько капель супа не пролилось на траву. И та же привычка обедать, стоя перед котелком на коленях, не пригибаясь к земле, не округляя плеч, и эти большие руки, привыкшие работать тяжелую работу, и эта присказка насчет мальчиков и мужиков, и интонация, и жесты, и деловитое выражение лица, освещенного блестящими, широко расставленными глазами,— все было давно знакомым.

Все хранилось где-то в тайниках памяти, на самом дне ее. И только сейчас вот Мозжухина сразу осенило воспоминание. Он уже точно знал, чей сын служит у него в полку...

Коротков-отец был в числе охотников, которые вызвались первыми переправиться вплавь через Неман, чтобы доставить на тот берег трос. Только держась за трос, могли противостоять злому течению пехотинцы в намокших сапогах, навьюченные оружием, боеприпасами и амуницией.

Коротков-отец, как и другие, вошел в воду совсем голый, но в каске и подпоясанный ремнем. К ремню были привязаны конец троса, гранаты. Тот же поясной ремень прихватывал ремень автомата, закинутого за спину.

Горстка голых людей заняла круговую оборону на обрывистом берегу, у подножия могучей сосны, к которой выплыли и ствол которой опоясали драгоценным тросом.

Несколько часов отбивался головной отряд от наседавшего противника. Продрогшие, обессиленные люди окопались в мокром песке, они разгребали песок касками.

Майор Мозжухин тоже переправился на правый берег вплавь, и ему тоже довелось повоевать в голом виде. Никогда не забыть гнетущего ощущения беззащитности, когда ты лежишь или ходишь нагишом, а по тебе, по голому, по раздетому, стреляют. Непробиваемой броней кажутся в такие минуты ерундовская хлопчатобумажная гимнастерка и шаровары (интендантское слово «шаровары» всегда раздражало Мозжухина).

К ночи на самодельном плотике переправился, держась за трос, старшина Леонтьев с термосом и хлебом. Обо всем подумал этот Леонтьев: и котелки привез и ложки. Запах борща напомнил людям о том, что они не ели больше суток. К каждому котелку пристроилось по нескольку человек.

Соседом Мозжухина был рослый, плечистый солдат со скуластым лицом, заросшим черной бородой. Он стоял перед котелком на коленях, не пригнувшись, не вытянув шеи.

Каждую ложку борща он нес бережно, подставляя под нее ломоть хлеба, будто внизу был не мокрый песок, а белоснежная скатерть и он очень боялся ее запятнать. При этом выражение лица его не было встревоженным. Он ел не спеша и спокойно, будто так вот и раньше частенько ужинал под обстрелом, нагой и продрогший. Он был лишь сосредоточен, как человек, который собрался плотно поесть, тем более что неизвестно, придется ли вообще и как скоро поесть еще раз.

— У тебя у одного аппетита хватит на троих,— подал голос из соседней песчаной ямы старшина Леонтьев, единственный, кто был одет в этой компании.— Осколки поют, а ему и горя мало! Ненасытливый!

— У нас весь род такой. Как работать — мальчики, как обедать — мужики,— дружелюбно откликнулся чернобородый солдат и снова зачерпнул борща.

Ему и в самом деле больше поесть не пришлось.

На рассвете, когда немцы перед контратакой начали ожесточенный огневой налет, рядом раздалось шипение мины — предвестник разрыва. Чернобородый солдат успел в один прыжок броситься к майору и прикрыть его собою.

Потом Мозжухин, оглохший и почти ослепший, с трудом поднялся на ноги. Он был ранен в плечо и грудь, но мог считать себя счастливцем. Чернобородый солдат, лежавший рядом, был мертв. Его голое тело было залито кровью.

Когда майор Мозжухин через три дня вернулся из медсанбата, полк уже успел расширить плацдарм на западном берегу Немана и занять литовский городок Алитус.

Майору показали могилу однополчанина. Похоронили

его на берегу Немана, у подножия сосны, вокруг которой остался висеть обрывок троса.

Майору доложили, что солдата похоронили честь по чести, в форме, но он так и остался неопознанным: документов у него, у голого, не было никаких.

Пять кирпичей уложили на могильном холме наподобие лучей звезды, а в центре этой пятиконечной звезды положили каску. Благородная простота солдатского памятника!

Полковник отчетливо вспомнил пасмурный августовский день, когда он пришел на могилу. Над головой висело низкое серое небо, и оцинкованные крыши литовского городка, видневшиеся вдали, в темно-зеленой оправе садов, были того же самого серого цвета, будто кровельщики выкроили на крыши куски этого неба...

Полковник снял фуражку и долго стоял не шевелясь, как если бы он пришел навестить сейчас ту могилу.

Мимо него прошли три солдата и молодцевато откозыряли, прошел капитан Пушкарев из второго батальона, прошел полковой писарь, еще кто-то, но полковник никого не заметил и никому не ответил на приветствие.

Потом он зашагал в глубь рощи и вышел к палаточному городку, но все еще не подготовился к разговору с Коротковым. Стоит ли вообще сообщать тому все обстоятельства гибели отца?

Всюду — у палаток и на полянах — мелькали солдаты.

Завидев полковника, они вскакивали, становились навытяжку, отдавали честь. У одних лица были по-ученически озабочены, у других — безразличны; у одних — бездумны, у других — согреты своими сокровенными

мыслями, которых не смогла прервать эта внезапная обязанность откозырять встретившемуся полковнику.

И Мозжухин все вглядывался в эти лица солдат, одинаково одетых, коротко остриженных.

Не все из них уже обрели приметы, отличающие бывалых солдат. Те и каски и автоматы носят всяк по-своему и усы отпускают всяк на свой вкус, да и сама фронтовая профессия накладывает отпечаток на весь их облик. И притом в боевой обстановке у человека всегда резче проявляется характер. Люди лучше различимы на переднем крае, чем на марше или на ученьях.

Мозжухин все вглядывался жадно и дружелюбно в эти схожие и в то же время столь разные лица солдат, словно искал среди них сынов своих старых однополчан либо старался всех запомнить в лицо.

У Мозжухина было такое ощущение, что отныне забот у него в полку стало еще больше — намного больше, чем вчера. Больше стало людей, которых он должен научить военному уму-разуму, о которых должен постоянно думать. Вот такое же чувство он испытал в тот день, когда ему, комбату, поручили командовать полком.

А может, все это оттого, что у него появилась острая потребность заботиться отныне о молодом Короткове, которого он усыновил в своем сердце.

Мозжухин решил не заводить сейчас с Коротковым никакого разговора, а завтра чуть свет отправиться с ним в Алитус. До Немана было немногим более трехсот километров.

Перед сном полковник вызвал Молодых и со своей всегдашней обстоятельностью отдал приказание приготовить машину к пяти утра, взять запасные бачки с бензином и еду на троих.

Они обернутся с поездкой за один день и к вечерней поверке будут дома, в полку.

1946

ГРОМ И МОЛНИЯ

1

После дня, насквозь пропахшего отработанным бензином, было особенно приятно очутиться на батарее, где нет тягачей, где на лафете пушки можно увидеть безобидную торбу с овсом, где слышны ржание коней, звяканье уздечек, сердитые окрики ездовых, ведущих из поколения в поколение вражду с норовистыми жеребцами.

Горнисты протрубили отбой с час назад, но «синие» и «красные» еще не угомонились, и отовсюду доносились отголоски шумного и суетливого дня.

Я сидел в штабной палатке, когда появился письмоносец. Старший лейтенант, командир батареи, просмотрел свежую почту и, надрывая конверт письма, спросил:

— Разрешите?

Он был смуглолиц, слегка горбонос, говорил с акцентом и носил пилотку, низко надвинув ее на бровь.

Читая письмо, командир батареи улыбался, показывая ровные белые зубы, и все время пощипывал маленькие, будто углем нарисованные усики. Он уже собрался спрятать письмо в карман, но передумал и протянул письмо мне:

— Хотите?

Письмо было откуда-то со Ставропольщины, из конесовхоза, от старшего табунщика Дегтярева.

«Дорогие товарищи с батареи и в том числе Танхо Михайлович! Вам шлет боевой привет известный Вам Дегтярев. Встретили меня в станице, как героя. Определился работать на старую должность. Дела в совхозе идут неплохо, но за дождем мы соскучились. Также и лошади недовольны травой, которая пожухла раньше времени, и приходится все время гонять табун с места на место.

Теперь разрешите спросить за батарею: кто еще подался до дому и кто находится при лошадях — действительно конюхи или только так, время провести? Беспокоюсь насчет Грома, поскольку он скоро четырехлеток. Доводить его до дела нужно с умом, а не сразу запрягать в первый унос — давай тащи пушку! Пускай привы-

кает понемногу, а то жеребец кипятной, характером весь в мать, примется пушку дюжей других из болота вытаскивать — тут жеребца недолго испортить. Я ваши места знаю, не то что у нас на степи — скатертью дорога. Так что, Танхо Михайлович, ты за Громом имей наблюдение.

Пуля моя не вредит, и нога действует исправно. Нога ноет к дождю, а нынче суховеи. Остаюсь ждать ответа с новостями, а также опишите подробности про Грома, про его манеры и какого он роста — догнал Фрица или, может быть, Утюга? Напоследок сообщите, кто теперь на батарее занят кузнечным делом и приехала ли до Вас семья? В случае чего, передавайте поклон. Остаюсь известный Вам Дегтярев».

Пока я переписывал письмо себе в блокнот, в палатке один за другим появилось несколько старых артиллеристов.

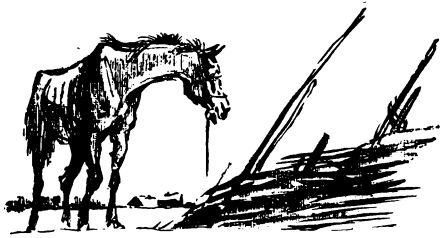
Бережно подбирая утерянные было подробности, подсказывая их друг другу, старожилы батареи рассказали мне про Дегтярева.

2

В отбитой у немцев деревеньке под названием Спас-Вилки ездовой Дегтярев нашел на конюшне клячу.

Дегтярев вывел клячу во двор. Она с трудом перебирала палочными ногами и шаталась от слабости.

Живот ее был уродливо втянут, отчего ноги казались



неестественно длинными. Костистая спина вся в парше. Глаза полузакрыты.

— Чистый шкилет,— мрачно сказал Дегтярев.— Такого рысака одной рукой запрягать, другой — слезы вытирать...

— Да, нечего сказать, лошадка,— сказал наводчик Салбиев.

А долговязый рыжеусый Божешнюк, исполнявший в расчете обязанности замкового, сказал насмешливо и зло:

— Этакую кралю продешевить трудно! Ее только на ниточке водить. Она и сама, видать, людей стыдится. Модница без хвоста!

Все разошлись, а облезлая кляча так и осталась стоять у плетня, поваленного взрывной волной. Привязывать клячу не было нужды. Уйти со двора она все равно не могла, а ушла бы — кому до того дело?

Когда Дегтярев вышел ночью к своим лошадям, трофейная кляча по-прежнему стояла у плетня. У нее даже не осталось сил дрожать. Худоба ее была видна и в полутьме — каждое ребро выпирало так, что грозило распороть кожу.

Дегтярев постоял, зябко повел могучими плечами, тяжело вздохнул и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Не трофей, а наказанье! Перед всей батареей сраму не оберешься. Ну да ладно, как-нибудь...

Он увел клячу в пустой хлев, стоявший напротив конюшни, и пробыл в том хлеву весь остаток ночи, до света.

Следующей ночью он опять навещал клячу раз шесть. Бегал на заброшенное колхозное гумно и нашел там ржаные охвостья; бегал на батарейную кухню за кипятком, потом что-то замешивал и запаривал в ведре.

Кляча совсем отвыкла от пойла, так что ее нужно было заново приучать пить, как новорожденного жеребенка.

Наутро Дегтярев вывел клячу во двор. Он решил отвести ее к ветеринару.

Появление ковыляющей клячи, с коротким, по-немецки остриженным хвостом, вызвало шумное оживление

среди артиллеристов. Все только что позавтракали, а сейчас курили. Возможность позубоскалить была слишком заманчивой, особенно для Божешнюка. Он считался первым балагуром на батарее, как когда-то в артели маляров.

Кляча, правда, стала тверже держаться на ногах, но по ней можно было изучать анатомию.

— Куда путь держишь, земляк? Не на живодерню, случаем? — спросил Божешнюк с серьезным видом.

Он оставался долговязым, даже когда сидел на снарядном ящике.

Сразу откликнулось несколько голосов:

— Знаменитое тягло! Главное — имя ей придумать настоящее.

— Стрела — одно названье ей.

— Не забудь ей подковы отодрать, когда преставится.

— Пуля — тоже подойдет.

— Еще лучше — Маркиза,— вмешался Божешнюк.— Все хорошо, прекрасная маркиза!

— Или Молния, на крайний случай.

— А вот мы ее на пансион определим, эту Молнию,— сказал Дегтярев с деланной веселостью, и на его белесом рябом лице появилось подобие улыбки.

Он остановился с клячей посреди двора и провел ладонью по стертой холке, но кляча осталась безучастной к ласке и даже не подняла головы. И такая мученическая покорность, такое страдание были в ее потухших глазах, отливающих фиолетовым, что Дегтярев не удивился бы, увидев, что она плачет.

Словно лошадь просила: «Ну оставьте меня в покое! Вы же видите, что я одной ногой в могиле. Зачем меня еще тащить куда-то? Ничего мне от вас не нужно — ни еды, ни пойла. Только оставьте меня в покое и дайте спокойно умереть!»

Дегтярев натянул повод и принялся ее понукать:

— Но-о, гнедая, не вешай голову, не печаль хозяина! Но-о-о, как тебя? Мо-олния!

Но лошадь, потерявшая свое старое имя и окрещенная заново, не трогалась с места.

— Двигатель, прости господи! Одной лошадиной силы не наскребешь... Может, она по-русски не пони-

мает? Так ты этого одра по-немецки пригласи,— посоветовал Божешнюк под общий смех.

Уж после того как кляча заковыляла, низко кланяясь при каждом шаге, и скрылась за воротами, Салбиев примирительно сказал:

— Скотину виноватить нельзя. Всем достается на войне. И нашим и немецким лошадям. Все мучаются.

Заступничество Салбиева было тем удивительно, что в боях он бывал зол как черт,— его злости хватило бы на весь расчет.

— Что значит — все мучаются? — запетушился Божешнюк.— Да пусть у фашистов все лошади охромеют, а еще лучше — передохнут! И еще лучше — с хозяевами вместе. Жалеть бесхвостую падаль! Взять, к примеру, этого одра. Да разве наша воронежская савраска до такого срама дойдет?

— Многое зависит от ухода,— уклончиво сказал Салбиев.

— Никогда не дойдет! — упрямо повторил Божешнюк.

— А может, она из теплой местности? — опять заступился Салбиев.— Может, она такого снегу не видела? Как наша лошадь в Осетии. Может, не принимает она мороза, не подходит ей смоленский климат?

Салбиев говорил спокойно, без запальчивости, свойственной в споре иным кавказцам.

— Подумаешь, неженка с Южного полюса! — отругнулся Божешнюк и смачно сплюнул, как бы подводя итог спору.

Дегтярев терпеливо сносил насмешки Божешнюка и других номеров расчета, но не сдавался.

Он кормил клячу с рук, чистил ее щеткой, часто менял подстилку, расчесывал челку, гриву и звал ее Молнией без малейшей иронии.

Ездовой Дегтярев был, по собственному признанию, человек «приверженный к лошадям» и даже когда-то просился в кавалерию, но из этого ничего не вышло.

Он и воевать начал ездовым, а было это в окровавленный июль 1941 года. Тогда еще лошади вставали на дыбы от каждого выстрела, шарахались в сторону от каждого танка, пугались воронок на дороге; тогда еще лошади на батареях были подобраны в масть; тогда еще на дышлах упряжек болтались попарно чудовищные лошадиные противогазы; тогда еще на фронте нельзя было увидеть жеребенка.

Ах, эти жеребята, рожденные на фронте, с младенчества привыкшие к гаму и грохоту войны, милые, смешные дуралеи, которые, задрав хвосты, резвились под пулями и делили с матерями всю тяжесть походов и опасность атак!

Многие, кто начал войну ездовым, уже стали командирами орудий, наводчиками, замковыми, заряжающими, но Дегтярев по-прежнему был неразлучен с лошадьми.

Для пущей важности он называл себя командиром тяги, но от этого ничего не менялось. Дегтярев оставался все тем же ездовым — не больше.

Ему частенько приходилось в минуты боя заменять кого-нибудь из номеров расчета, и был даже случай, когда он в рукопашной схватке тут же, у орудия, раскроил фашисту череп саперной лопаткой.

Но Дегтярев всегда с нетерпением ждал, когда снова сможет вернуться к своей упряжке.

И сейчас он половину дня пропадал на конюшне, где стояли батарейные лошади Запал, Кокетка, Утюг, Гиль-

за, Золотистый, Градусник, Шомпол, Манька, Тиран и Фриц.

Неисповедимы пути, по которым следует фантазия ездовых, дающих клички батарейным лошадям. Известно было только, что Фрицем Божешнюк обозвал (именно обозвал) чалого мерина, как самого зябкого, трусливого и ленивого на батарее.

Дегтярев все больше беспокоился: а вдруг батарея уйдет из деревни и придется бросить клячу? Она не смогла бы еще выдержать и маленького перехода.

Потрепанная в боях батарея ждала новой материальной части и могла сняться из Спас-Вилок в любой день и час.

— Не слыхал, когда на передовую тронемся? — спросил как-то Дегтярев у Божешнюка.

— Не имею права разглашать военную тайну,— сказал Божешнюк и важно расправил усы.— Остановка за твоим двигателем. Как хомуты наденешь на свои шесть лошадиных сил, так и тронемся. А тебе что? На передовую приспичило? Я лично не тороплюсь...

Кругом засмеялись. Божешнюк был не из храброго десятка, кланялся всем пролетающим снарядам, но ему прощали эту слабость потому, что он продолжал балагурить даже с дрожащей от страха челюстью и дела не забывал.

Когда батарея в начале апреля в последний раз прогремела по деревне Спас-Вилки, Молния, в попоне из рядна, трусила, привязанная к новому зарядному ящику. Таким же новеньким было и орудие, выкрашенное в зеленое, под цвет наступающей весны. Ни одной вмятины, ни одной царапины не было на щите орудия.

Сентябрьским вечером в бою за Ржаники была убита в упряжке Кокетка. Постромки пришлось обрубить, и место рядом с вороным Запалом заняла Молния.

Даже не верилось, что эта самая лошадь недавно с трудом передвигала ноги. И голову она теперь держала высоко, и бока ее сытно лоснились, и ребра уже не выпирали наружу.

Это была мускулистая, рослая, хороших кровей гнедая кобыла с белой отметиной на лбу в форме полумесяца и в задних чулках. Молния ни в чем не уступала

лучшим батарейным лошадям, и только короткий хвост выдавал ее происхождение.

Никому теперь и в голову не приходило, что кличка дана была этой резвой и работящей лошади в насмешку.

Молния стала любимицей не только этого расчета. Командир огневого взвода лейтенант Бейлинсон, человек городской, из зубных врачей, каждый раз, проходя мимо, нежно гладил Молнию по шее.

Божешнюк еще пытался посмеиваться над Дегтяревым, но эти шутки не пользовались больше успехом среди артиллеристов.

Однажды на привале Дегтярев поймал Божешнюка с поличным. Тот совал в губы лошади огромную ладонь, а на ней белели куски сахару.

Божешнюк скормил весь сахар и лишь потом сказал, оправдываясь:

— Ничего не поделаешь! Заработала.

Дегтярев с великодушием победителя не стал попрекать Божешнюка прошлым.

Наутро батарея расположилась в желтом, поредевшем осиннике, южнее деревни Колодезный Брод. Но к вечеру немцы потеснили нашу пехоту, и батарея поспешно сменила огневую позицию. При этом в осиннике застрял зарядный ящик, набитый снарядами. И вот Молния с помощью Дегтярева, который уперся плечом в ящик, вытащила под огнем боевой комплект своего орудия.

Вскоре после этого батарея стала на отдых. Божешнюк красил орудие, и за его работой от нечего делать следил весь расчет.

— Шутки в сторону! Такая лошадь медали заслуживает,— сказал Божешнюк, и все поняли, что речь идет о Молнии. Предвидя возражения, он добавил: — На выставке по сельскому делу лошадям медали дают?

— Ну, дают,— подтвердил несмело Салбиев.

— Значит, и на фронте можно!

Божешнюк, довольный собой, расправил усы и снова взялся за кисть.

У артиллеристов — свой календарь, и о смене времен года батарею извещал Божешнюк. Несколько раз в году

он брал на себя обязанности маляра: доставал краску, кисть и ведерко, которые возил в обозе.

В предзимье он разводил белила, ранней весной — зеленую краску, осенью — сажу и охру.

— Для соблюдения пейзажа,— объяснял он солидно.

Особенно важничал Божешнюк, когда разрисовывал орудийные щиты черно-желтыми пятнами, под цвет осени.

И сейчас он то и дело отходил от щита, как художник от мольберта, многозначительно щурился, чесал лоб, расправлял усы, отчего и лицо его тоже было в черно-желтых пятнах.

Молния, стоявшая рядом, призывно ржала, ей отзывался в истоме вороной Запал.

Когда батарея вела бои на Немане, Молния вместе с другими жеребыми кобылами оставалась при обозе. Но как только Божешнюк возвестил зеленой краской приход весны, Молния заняла свое место в упряжке.

Не отходя от нее далеко, скакал пугливый жеребенок. Он останавливался, широко расставив все четыре ноги, потом смешно садился на землю, еще смешнее складывал свое угловатое туловище вдвое и все примерялся, как бы почесать за ухом задним копытцем.

— Что же он растет как беспризорник? Прямо псевдоним какой-то! — сказал однажды на привале Салбиев.— Надо ему имя сочинить. Например, Казбек. Или Терек. Или Кинжал. Или еще как-нибудь.

— Лучше Гром,— предложил лейтенант Бейлинсон.— Молния всегда рождает Гром.

— Пока Гром не грянет, ездовой его не окрестит,— заметил Божешнюк.

— Правильно! Без Молнии какой же Гром? — поддержал кто-то из новичков.

В те дни батарея приняла тяжелые бои и несла потери, а поэтому Дегтярев отлучил Грома от матери и упросил обозников взять жеребенка к себе...

В сумрачное ноябрьское утро батарея двигалась в Литве по лесной дороге. Лес вокруг гудел от канонады.

Было по-настоящему морозно, и артиллеристы, чтобы согреться, соскакивали с передков, с лафетов и ша-

гали рядом с орудиями по дороге, слегка присыпанной сухим снегом.

Как всегда, больше других мерз Салбиев. Он ступал, пританцовывая на кривых ногах, бил себя по ноге прутиком, ежился и мечтал о башлыке и о бурке. Плоский немецкий штык болтался у него на поясе, как кинжал. Ушанку Салбиев надвинул на самые брови, как носили папахи в его ауле.

Дорожная глина уже не прилипала к колесным ободьям. Заморозки сковали грязь. До оттепели, может быть до самой весны, будет теперь жить на дороге точный и моментальный оттиск — каждый копытный след, колея, ямка.

Где-то впереди в низком небе мигнул красный глаз ракеты. Дегтярев на рысях вымчал орудие на опушку, развернулся, и расчет открыл огонь прямой наводкой по немецким блиндажам, которые отчетливо виднелись на противоположном краю поляны.

Божешнюк хлопотал у замка: бледный, челюсть у него дрожала.

Дегтярев поспешил отвести лошадей в ближний ельник; лучшего укрытия поблизости не было.

Пули застучали в орудийный щит.

Сейчас, когда номера стояли, пригибаясь за щитом, Божешнюк казался еще более долговязым.

— Держим ушки на макушке, наша пушка на опушке, а прямушка — не игрушка,— принялся сочинять Божешнюк, стуча зубами.

Пуля ударила ему в плечо.

— Спас меня росточек! — сказал Божешнюк, кривясь от боли.— Бейлинсону на этом месте как раз бы в лоб угодило!

Но ранение было не из легких, отшутиться не удалось, и Божешнюка увели.

На место замкового вызвали Дегтярева.

Ездовой действовал сноровисто: быстро закрывал замок, дергал за боевой шнур, и горячие гильзы падали на снег, растапливая его внезапным жаром.

Вскоре немецкие блиндажи были разнесены в щепы. Пехотинцы, поддержанные батареей, пошли в решительную атаку.

Салбиев отнял бинокль от глаз и прокричал расчету:

— Амба! Фашистам амба!

Но пулемет еще успел прошить длинной очередью ельник, где стояла упряжка, и разрывная пуля попала Молнии в шею.

Молния сорвалась с привязи и понеслась, не разбирая дороги, неестественно высоко запрокинув голову.

Она не успела ускакать далеко — быстро пристала, словно сразу выбилась из сил или дорога круто пошла в гору, потом оступилась, ткнулась мордой в снег и рухнула на бок.

Уже давно расквитался расчет с вражеским пулеметом и сровнял с землей блиндажи. Теперь пушка-прямушка била и била по отходящему противнику так, что ствол ее раскалился и запахло горелой краской.

Дегтярев дергал за боевой шнур изо всей силы, с таким ожесточением, будто от этого зависела убойная сила снаряда.

Когда бой окончился и неожиданная тишина воцарилась над отвоеванной землей, Дегтярев со всех ног бросился к Молнии, лежавшей на поляне.

Молния лежала на снегу, как на красной подстилке, и дрыгала ногой, пытаясь нащупать копытом пропавшую куда-то землю, и по всему было видно, что ей очень хочется встать, что ей очень неудобно лежать вот так, на боку, с неестественно выгнутой шеей.

Глаза ее еще не успели остекленеть. Небо отразилось напоследок в их бездонной глубине фиолетовым отблеском.

Подошел Салбиев и стал рядом, тяжело опершись на карабин.

— Пожалей ее, друг,— глухо сказал Дегтярев и отвернулся.

Салбиев вскинул карабин, широко расставил кривые ноги и выстрелил в упор в голову лошади.

— Отмучилась,— сказал Дегтярев едва слышно и поднялся с красного снега.

Его рябое лицо было мокрым от слез.

После того боя он уже от орудия не отошел, и хотя никакого разговора на этот счет с лейтенантом Бейлинсоном не было, Дегтярев называл себя замковым. В качестве замкового он исколесил потом с пушкой всю Восточную Пруссию.

О Молнии бывший ездовой никогда сам не заговаривал, а если в его присутствии заходила речь о смерти лошади, он никогда не говорил «сдохла», но всегда — «скончалась».

Попону Молнии Дегтярев оставил себе, и она служила ему одеялом.

3

После всего, что мне рассказали о Молнии, нельзя было распрощаться с батареей, не повидав Грома.

Вдвоем с командиром батареи, старшим лейтенантом Танхо Салбиевым, мы вышли из штабной палатки и направились к овражку, заросшему березняком. Батарея расположилась здесь только вчера, но уже стелился над овражком стойкий запах конюшни — смешанный запах навоза, сена, конского пота и сбруи.

Нам не повезло: стойла, сбитые наспех из березовых жердей, пустовали.

Коней увели купать на Сож.

Салбиев постоял в нерешительности, потом хлестнул прутом по сапогу и сказал:

— Теперь не скоро. Пока напоят, пока выкупают, пока вычистят. Потом сами купаться будут. Может, дойдем до реки? Если лесом — близко.

И Салбиев прутом указал направление.

Мы прошли напрямик через сосновый бор, источавший аромат нагретой смолы и хвои.

— Сож! — объявил Салбиев.

Он держал прут, как указку.

Река в просветах зелени светилась тусклым серебром. Мы вышли на реку у крутой извилины, и она блеснула перед нами изогнутым клинком, перерубившим лес надвое.

Плотная тень леса неподвижно лежала на спокойной прибрежной воде, отчего река казалась более узкой, чем была на самом

деле. Сейчас, на исходе августа, она обессилена невиданно знойным летом и медлительна.

Прибрежный песок весь истоптан. Глубокие следы покрышек уходили прямо в воду. Мотопехота «синих» форсировала здесь утром обмелевший Сож.

У берега отливали перламутром пятна нефти, и потому ездовые ушли с батарейными лошадьми вверх по течению.

Мы услышали их раньше, чем увидели. Веселое ржание, крики «Не балуй!», особенно звучные над водой, гогот купальщиков, плеск воды.

— А вот и Гром! — показал прутом Салбиев.

Жеребец выходил из воды не спеша. Он отфыркивался, трепетал нежными ноздрями и прядал ушами — то плотно прижимал их, то ставил уши торчком, и тогда они просвечивали розовым.

Верхом на жеребце сидел голый крепыш, коротко остриженный, с оливковой кожей. Он ерзал на скользкой спине, то и дело хватаясь за мокрую гриву.

На лбу у Грома белая отметина в форме полумесяца, на передних ногах белели чулки. Жеребец темно-гнедой, а может быть, это только казалось после воды, а на самом деле масть светлее.

Гром — новобранец. Лишь весной трехлетний жеребец занял место Молнии в упряжке.

Купал Грома ездовой первого уноса первого орудия батареи, прямой наследник Дегтярева. Ездовой этот, однако, ничего не знал о Громе: не знал, из каких рек тот пил воду, не догадывался, почему Гром не пугается на учебных стрельбах.

И я подумал, что даже ради одного молодого ездового стоит записать историю трофейной клячи.

1947

СВЕТ НА ПОЛОТНЕ

1

Почтовый поезд, к которому нас должны были прицепить, уходил поздно вечером, в одиннадцать часов с минутами, и в моем распоряжении, таким образом, был весь день и вечер.

Я не разделял недовольства попутчиков и без малей-

шего раздражения следил за тем, как слабосильный, весь окутанный паром паровоз загонял наш офицерский вагон в какой-то тупик на станционных куличках.

Еще до своего отпуска я слышал, что председателем здешнего горсовета работает Аринич, тот самый Роман Андреевич Аринич, которого я знал по одной из гвардейских дивизий.

Майор Аринич проделал со своим полком путь от Оки до Немана, и мне довелось за два года не раз побывать у него в гостях. В гостеприимстве его и сердечности я бывал уверен, даже когда разговаривать ему со мной было некогда, а угощать — нечем.

«Вот и хорошо! — весело думал я, шагая по шпалам к станции.— Проведаю Аринича. А не застану — осмотрю городок».

Я помню этот городок в час, когда он только что был отбит у немцев. Пахло гарью и трупами. Саперы перерубали надвое крышу, сорванную взрывной волной с дома и брошенную поперек улицы. Кони, выпряженные из орудийных запряжек, оттаскивали убитых лошадей и разбитые повозки, загромоздившие улицу настолько, что она стала непроезжей. На базарной площади еще чадил обугленный танк с черным крестом на башне.

Очевидно, у всех, кто вызволял из неволи пусть даже совсем незнакомый город, на всю жизнь остается к нему невыразимая нежность, острый интерес к его судьбе, к его будущему.

Городок и раньше не мог похвастаться обилием достопримечательностей, если не относить к ним колодца на базаре с волшебной родниковой водой и каких-то особенно долговязых подсолнухов; они сутулились и кивали желтыми головами из-за самых высоких заборов. Это был провинциальный городок с несколькими мощеными улицами, с козами, которые проводят на улицах бóльшую часть своей жизни, с карликовой пожарной каланчой, с милыми белорусскими девчатами, которые разгуливают в цветастых платках и неутомимо лузгают семечки.

В конце войны городок приобрел почетную известность, и название его стали часто склонять в военных академиях. В окрестностях этого городка выкипел до дна один из самых больших немецких «котлов».

И сейчас еще на привокзальной площади и дальше, на улицах, то и дело виднелись разбросанные по прихоти боя немецкие танки, пушки, цуг-машины, бронетранспортеры.

Центр города лежал в руинах. На карнизах и на подоконниках печально зеленела трава. От решетки несуществующего балкона к ухвату, который когда-то придерживал водосточную трубу, а сейчас праздно торчал из стены разрушенного дома, через улицу была протянута веревка. На ней безмятежно сохло белье. Куры деловито разгребали мусор на пожарище, и от вечной возни в золе перья на их груди и на ногах стали черными.

Но чем печальнее была панорама города, лежащего в каменном прахе, с тем большей жадностью ловил глаз приметы неугасимой жизни.

Вперемежку с почерневшими телеграфными столбами стояли свежеотесанные. Рядом с головешками белели новые доски. В мертвых, на первый взгляд, домах множилось число окон размером с форточку. Августовское предзакатное солнце прилежно золотило эти оконца нежаркими лучами.

После путаных указаний бабки, загонявшей козу, мальчонки с удочками и домохозяина, чинившего забор и попросившего закурить раньше, чем он ответил на вопрос, я нашел наконец белокаменный двухэтажный дом горсовета.

Едва я поднялся на крыльцо, как столкнулся лицом к лицу с Ариничем, шагнувшим ко мне навстречу из двери, распахнутой рывком.

Он узнал меня тотчас же, улыбнулся и первым протянул левую руку.

— Добрался благополучно? — спросил Аринич таким тоном, будто я только что спрыгнул к нему в траншею или приполз по ходу сообщения на наблюдательный пункт полка.

— Все в порядке, Роман Андреевич.

— Какими судьбами? И надолго?

— До позднего вечера.

— И то дело!

На крыльце стало тесно, потому что следом за Ариничем из дома вышло еще несколько человек и все топтались на месте, поджидая его. Аринич торопливо начал нас знакомить:

— Товарищ Тышко — наше народное образование. Гарновец — директор кинотеатра. Фрося Станкевич — секретарь горсовета. Ну, вот и хорошо! Хлеб-соль за нами, а сейчас прошу в компанию. Пойдем, на кинотеатр поглядишь. Не театр, а сказка! Тысяча и одна ночь! Сегодня открытие. Как раз подоспел. Ну как комиссия? Все в сборе? Тогда пошли.

Аринич торопливо спрыгнул с крыльца, мы двинулись следом. Со стороны можно было подумать, что все только меня и ждали, что я тоже — член этой комиссии.

Заведующий гороно Тышко был в измятом сером костюме, в измятой вылинявшей кепке, из-под которой виднелись седые волосы, а в руке у него тяжелел бурый, истрепанный портфель. Можно было побиться об заклад, что портфель Тышко набит учебниками и ученическими тетрадями. Казалось, и руки у него выпачканы мелом. А если он сейчас заговорит, то начнет с фразы: «Ну-с, так на чем же мы с вами остановились?»

Гарновец был без шапки, в черном пиджаке с орде-

ном Красного Знамени на отвороте. Горькие складки у рта и на лбу делали его старше своих лет, а седая прядь в густых темно-каштановых волосах неожиданно подчеркивала, что он молод.

Фрося Станкевич была в сапогах не по размеру, широкие кирзовые голенища на каждом шагу шлепали ее по обнаженным загорелым икрам. На ней был красный платок, повязанный низко, на самый лоб; так прежде ходили работницы-делегатки. Миловидность явно мешала казаться ей серьезной и сосредоточенной.

Мы с Ариничем шагали рядом, то и дело с улыбкой поглядывая друг на друга.

— Где мы в последний раз виделись? — вспоминал Аринич.— Правильно! На Немане. Это когда мы на понтонах переправлялись? Правильно! Мне еще тогда фуражку прострелили и козырек, черти, попортили.

Он снял зачем-то кепку и внимательно ее осмотрел, будто удивляясь тому, что на голове у него не та армейская фуражка. Ни слова о ранении, о демобилизации Аринич не сказал. Надоело рассказывать о своем несчастье? Боялся непрошеного сочувствия? Или полагал, что пустой рукав достаточно красноречив и можно обойтись без подробностей?

Мы завернули за угол, миновали киоск «Фотомомент», прошли мимо холодного сапожника. Он работал прилежно, не поднимая головы; его нетерпеливо ждала девушка, разутая на одну ногу.

Оживленная улица вела к базару. По случаю воскресенья на базаре было шумно и многолюдно, у возов толпился народ, причем семечки лузгали как бы наперегонки и покупатели и продавцы. Над площадью стоял запах свежего навоза, как всегда на провинциальном базаре.

Бросалось в глаза, что крестьяне и горожане носили одежду из немецкого сукна. Тут и там виднелись шинели, брюки, френчи, поддевки, кафтаны самого немыслимого покроя — и все они были характерного мышиного цвета. В партизанском крае, где громили немецкие склады, цейхгаузы, эшелоны, где немцам приходилось часто удирать налегке из казарм, из крестьянских хат,— почти в каждой семье можно было найти что-нибудь из немецкого обмундирования.

Пока мы шли через базар, Аринич то и дело приценялся к продуктам, а творог и мед даже попробовал, но, судя по всему, покупать ничего не собирался.

Аринич по-прежнему ничего не говорил о себе, а все рассказывал о городских своих заботах и хлопотах.

— А сегодня кинотеатр открываем. Под названием «Партизан». Его рук дело.— Аринич кивнул в сторону Гарновца.— На всю область разговор из-за этого кино. Больницу под крышу не определили. Школьники в три смены на партах сидят. А кинотеатр открываем! Ох, намылят мне за это голову! Скорее облысею, чем отмою. А кто будет виноват? Он будет виноват! — И Аринич опять кивнул на Гарнавца, шедшего впереди.

Гарновец то и дело забегал вперед, а затем нетерпеливо ждал, пока мы подойдем. Многие встречные здоровались с Ариничем и его спутниками. Но я заметил, что с Гарновцем, шедшим впереди, все раскланивались особенно почтительно.

— Теперь кланяются,— сказал Аринич, добродушно усмехнувшись.— А было время — отворачивались, на другую сторону переходили.— Аринич опять кивнул на Гарновца и сказал: — Он тут у нее долго в предателях ходил.

Недоумение мое росло, и это доставляло Ариничу явное удовольствие.

Мы миновали еще несколько полумертвых кварталов, и вдруг между каменных торосов возникло новенькое двухэтажное здание, выкрашенное в голубой цвет.

Маляр, неразлучный с костылем, докрашивал парадную дверь.

Он был в рваной тельняшке и в черных брюках. Одна штанина лежала широченным клешем на земле, другая была пришпилена выше колена.

С обеих сторон от парадной двери стояли щиты, рекламирующие фильм «Чапаев».

По фронтону здания тянулась вывеска. У живописца хватило вкуса перевить буквы лентой салатного цвета, с красной черточкой посредине, как на колодке партизанской медали.

— Постой-постой! — воскликнул Аринич, приглядевшись к вывеске.— Что-то напутал твой живописец Сури-

ков. Театр-то окрестили «Партизан». И в газете так напечатано. Откуда же взялась «Партизанка»? Кинотеатр, он — мужского рода.

— Это я, Роман Андреевич, изменил,— признался Гарновец, сильно смутившись.

— Что ж, пожалуй, можно,— поспешно согласился Аринич и убежденно повторил: — Так будет лучше. «Партизанка»! Хорошо! Пусть женского рода. Очень хорошо! Есть же кинотеатры «Аврора», «Родина», «Пятилетка». Отлично!

В вестибюле, в фойе, в зрительном зале, в кинобудке — всюду пахло краской, клеем, непросохшей штукатуркой. Два подростка привинчивали в зале последний ряд кресел. Седобородый старик, в мундире немецкого офицера и в лаптях, выметал стружки. Уже светилась красными буквами табличка, напоминающая о запасном выходе. Ослепительно белела простыня экрана — без швов, без морщинок, без складок.

Сейчас «Чапаев» мирно спал, свернувшись клубком в цинковых коробках, но вечером он оживет на впечатлительном полотне. Чапаев вновь промчится во весь опор в атаку, и бурка будет биться за его плечами острыми крыльями. А потом весь зал, вместе с пулеметчицей Анкой, будет переживать волнующие подробности психической атаки...

Аринич подписал акт о сдаче кинотеатра в эксплуатацию, дал подписать другим членам комиссии, а потом неожиданно предложил:

— Подростки здесь с роялем никак не совладают. Надо его в фойе устроить на жительство. На второй этаж. Может, подсобим? Как вы, комиссия?

Тышко торопливо положил портфель на подоконник, а Фрося стала еще более серьезной и поправила косынку.

Тышко, старик в лаптях, два подростка, я и Фрося, которую так и не удалось отговорить от этой затеи, потащили рояль по лестнице. Аринич шел сзади, командовал и все норовил подпереть плечом лакированный борт рояля.

В эту минуту Аринич напомнил мне раненого из знакомой гвардейской дивизии. С рукой на перевязи шел тот с переднего края в медсанбат, увидел, как мы вытаскиваем завязшую в дорожной грязи пушку, подошел к нам, чтобы подпереть здоровым плечом орудийный щит и прокричать чудодейственное «раз, два — взяли»...

После осмотра кинотеатра Гарновец пригласил всех к себе домой подкрепиться. Он жил в пригороде, который здесь называют Форштадтом. Дорога туда, за оживленным разговором, показалась короткой.

Родители Гарновца встретили нас с тем сердечным хлебосольством, в котором нет желания выставить напоказ свое радушие, нет навязчивости.

Хозяйка поставила перед нами глиняный жбан; стенки его запотели, от него хорошо пахло погребом.

— Откушайте холодного молочка, пока яичница поспеет.

Завтрак не прервал беседы. На улице Гарновец показался мне угрюмым человеком, из которого и слова не выжмешь. А дома у себя и он и его родители оказались весьма словоохотливыми...

2

С тех пор как появился кинематограф, мальчишки мечтают стать киномеханиками. Что может быть лучше! Каждый вечер и по нескольку раз подряд бесплатно смотреть картину.

С афиш, висевших у входа в «Олимп», приманчиво смотрели звезды экрана. Днем кинокрасавцы надменно взирали на гуляющих коз и на босоногих мальчишек, которые собирались часа за два до начала первого сеанса.

Обычно мальчишки, едва став подростками, изменяли своим мечтам и вспоминали о них со снисходительностью взрослых. Но Сереже киномеханик дядя Михась по-прежнему представлялся волшебником.

На экране захолустного городка возникала чужая жизнь, с лакеями, сыщиками, ковбоями, обгоняющими курьерские поезда, красавицами в бальных платьях с обнаженными спинами.

В двенадцать лет Сережа впервые поднялся в будку к дяде Михасю. Мальчик подавал коробки, менял угли, перематывал и склеивал ленту; в будке всегда стоял острый запах грушевой эссенции.

Многие картины, например «Красные дьяволята», Сережа знал наизусть, кадр за кадром. Он восторгался каждой новой картиной, но дядя Михась не разделял его восторгов:

— Разве это боевики? Артистом называется, а ходит в шинели, в опорках. И голова нечесаная! Вот в старое время снимали картины! Взять «Отец Сергий, или князь Степан Касатский», по повести графа Льва Толстого, в исполнении артиста Мозжухина. А когда я крутил картину «За каждый светлый миг заплатишь ты судьбе» с участием Веры Холодной — весь зал плакал. Особенно в том месте, когда князь вбегает в спальню к княгине, снимает цилиндр, бьется головой об пол, и тут сразу появляется надпись: «Несчастная, она мертва!!!»

К звуковому кино дядя Михась, которого уже всё чаще называли дедом, и вовсе отнесся скептически:

— Одно баловство. Поозоруют — и бросят. Великий Немой — значит, должóн молчать.

Возможно, он говорил так потому, что был глуховат и не умел регулировать звук.

Гарновец уехал на курсы киномехаников и вернулся хозяином кинобудки. Ему едва исполнилось восемнадцать лет, но мальчишки почтительно звали его дядей Сережей. Когда случалась заминка из-за порванной ленты или рамка перечеркивала кадр, мальчишки в «Олимпе» никогда не топали ногами, не свистели и не орали «сапожник!», но почтительно кричали: «Дядя Сережа, рамку!»

Война нагрянула в городок «юнкерсами», разбомбившими центр, станцию и мост через Сож. Из городка не стало дороги ни на восток, ни на север, ни на юг. А спустя несколько дней пришли немцы.

Гарновец остался в городке. Целыми днями он огородничал за частоколом желтых подсолнухов, пока за

ним не явился немец. Немец усадил его на запятки мотоцикла и увез к коменданту.

Гарновцу дали на всё два дня. «Олимп» должен работать. Там будет открыт солдатский кинотеатр. Название его — «Дрезден»: дело в том, что господин комендант родом из Саксонии.

Для видимости Сергей провозился весь день в кинобудке, но еще утром собрал котомку. Из окон дома виднелся лес, так что скрыться можно было без особого труда.

Поздно вечером к Гарновцам зашла Ксана, и Сергей, как всегда, покраснел от счастливого смущения и стал излишне суетлив. Сергей и Ксана дружили со школьной скамьи. Кумушки называли их женихом и невестой, но и сами молодые люди не знали — врут кумушки или нет.

— Когда открывается театр? — спросила Ксана, как только они остались вдвоем.

— Хотят завтра.

— Та-ак. А ты? — Она указала подбородком на котомку.— В лес собрался?

Сергею послышался в ее словах упрек, и он торопливо объяснил:

— Я так не ушел бы. Утром хотел зайти проститься.

— Может, не стоит?

— Ты сердишься?

— Не то, Сережа. Может, не стоит тебе в лес торопиться?

— Нет, я решил. Правда, стариков страшно оставлять. Как бы им не пришлось за меня ответ держать. Завтра, как только стемнеет, подамся. И знаешь куда? — Сергей оглянулся, придвинулся ближе и сказал вкрадчивым шепотом: — В Милехинский лес. К самому Савелию Васильевичу...

— А Савелий Васильевич не советует.

От неожиданности Сергей даже отшатнулся:

— Савелий Васильевич? Откуда ты знаешь?

— Савелий Васильевич не советует,— повторила Ксана твердо, тоном приказа.— «Пусть, говорит, занимается своим делом. Мне свой человек в кинотеатре нужен. Вдруг, говорит, захочу немецкие картины смотреть! Кто меня в кино проведет? Кроме Сергея, некому».

— Ты это сама слышала?

— Сама не слышала, но знаю от добрых людей.

— Кто же эти добрые люди?

— Есть такие люди, которые народу добра желают.

Сергей был обижен скрытностью Ксаны, хотя и понимал, что секретничает она не по своей воле. Он и радовался тому, что Ксана была связана с партизанами, и стыдился того, что она опередила его.

Ксана торопливо надела рваное пальтецо, повязалась по-старушечьи платком и, уже стоя на крыльце, сказала печально:

— Мне здесь долго не бывать. Помни меня, Сережа, и плохим слухам не верь.

Она говорила очень медленно, подчеркивая каждое слово, и при этом пристально смотрела куда-то вдаль.

Кинотеатр «Дрезден» открылся в начале октября. И всю ту осень и зиму Гарновец почти каждый вечер поднимался в свою кинобудку.

Не было ничего страшнее фронтовой хроники.

Стрелки из егерской дивизии «Эдельвейс» водружают фашистский флаг на горе Олимп, в Греции. Горит Смоленск. Генерал Роммель, сухой, долговязый, похожий на воблу, принимает парад войск в Африке. Эшелоны со скотом и тракторами идут с Украины. Авиатехники подвешивают бомбы к «хейнкелям», улетающим на Москву.

Снизу, из зрительного зала, в будку доносились запах чужих сигарет, топот, крики, гогот солдатни и надоедливая песенка о Лили Марлен.

Кинотеатр бывал битком набит фашистами. Вокруг городка бушевал партизанский пожар; из городка снаряжались карательные экспедиции.

Стадион на окраине городка фашисты обнесли колючей изгородью и там, под недобрым осенним небом, держали военнопленных. Гарновцу казалось, что проволока, которой обнесен лагерь, заржавела не от дождей, но от крови. Казалось, что это только лагерь в лагере и что весь городок опутан проволокой, той самой ржавой, колючей проволокой, которой фашисты связывают за спиной руки смертников; их уводят на каменоломню, откуда нет пути назад никому, кроме конвоиров.

Каждое утро пленных гнали на станцию, на разгрузку вагонов, а вечером, с трудом волоча по земле ноги, пленные брели обратно. Иные из них впрягались в телегу, на которой везли лошадиную тушу, чтобы потом обглодать ее до последней кости, выварить даже внутренности и копыта.

Страшно было смотреть на людей, которые тянули ослабевшими руками за постромки и оглобли. В такие минуты Гарновец сильнее тосковал по оружию. Он принимался ругать Савелия Васильевича, который забыл о его существовании. Он ругал себя за то, что послушался совета.

«А может, Савелия Васильевича в живых нет? Но тогда я — как отрезанный ломоть. Каждый назовет предателем. Кто поверит, что я ждал приказа? И сколько еще ждать его, этого приказа, если он вообще будет?»

Уже многие знакомые перестали здороваться с Гарновцем. Одни сокрушенно качали головами, другие брезгливо молчали, третьи бросали мимоходом одно слово, оскорбительное, как плевок в лицо. А Гарновец ничего не отвечал и проходил мимо, опустив голову, с трясущимися от обиды губами. Он стал еще более замкнут, мрачен и исхудал так, что мог сойти за беглеца из лагеря военнопленных.

Родители с тревогой следили за сыном и щадили его, как умели. Отец долго не решался затеять разговор, но однажды все-таки набрался смелости и сказал:

— Что-то забыла Ксана дорогу в наш дом. А слухи, сыночек, ходят по городу скверные. Видели ее с офицерами в автомобиле. Ксана! Кто бы мог подумать...

Сергей ничего не ответил, круто повернулся и выбежал из дому.

Однажды, возвратясь домой после сеанса, Гарновец увидел за столом незнакомца.

— Старых друзей не узнаешь? — спросил незнакомец, поднимаясь.

— Савелий Васильевич! Вот гость!

— Гость, правда, незваный...

— Как же я не узнал! — смутился Гарновец.

— Борода — раз, усы — два, не виделись давно — три,— поспешил на помощь Савелий Васильевич.

— По-моему, с того торжественного заседания, когда вы доклад делали.

— Торжествовать — дело не хитрое. Не в лесу воевать.

Они просидели вдвоем допоздна, и когда Савелий Васильевич ушел, Гарновец уже точно знал, кто возит для кинотеатра дрова, под которыми спрятана взрывчатка, и как устроен механизм мины. Мину установит тот же возчик дров. На него в этом деле можно положиться: по совместительству он командир группы подрывников, сброшенных на парашютах. Взрыв должен состояться в конце сеанса, когда на дворе совсем стемнеет.

— Черт с ними!—усмехнулся Савелий Васильевич.— Пусть посмотрят перед смертью всю картину.

Уже в дверях Савелий Васильевич сказал:

— Пиджак свой с документами передай завтра возчику дров. Он знает, куда этот пиджак подбросить. Пусть фашисты думают, что ты тоже убит при взрыве. Сам добирайся в Милехинский лес, к домику лесничего. Через речку не переходи. Свистни три раза — тебя встретят.

Наутро Гарновец наведался к Ксане. Она смутилась, но глаз не опустила.

— Картина сегодня будет с неожиданным концом. Ночью в лес убегу. Зашел попрощаться.

— Знаю, Сережа. Примем меры, чтобы не пострадали наши.

— Тебя там не будет?

— Постараюсь улизнуть. Кстати, что сегодня идет?

— Комедия «Меня любит весь полк». В крайнем случае, можешь смотреть до восьмой части.

— Счастливая все-таки Анка! Она воевала за пулеметом, рядом с любимым. Помнишь, Сережа, когда ты крутил «Чапаева»? Неделю подряд ходила, и все было мало...

Она задумалась, опять пристально посмотрела куда-то в окно, как тогда на крыльце, и сказала:

— А до других, Сережа, мне дела нет. Пусть называют как угодно. Будет время — придут прощения просить. Честные люди, потому и не хотят с нами здороваться.

На прощание они поцеловались. Скорбный поцелуй предвещал долгую разлуку.

Вечером Гарновец, как всегда, смотрел через глазок в зал, затянутый подсвеченным дымом. Аппарат трудолюбиво стрекотал. Вот он, кусок ленты, который можно запустить без опасения, что его заест. Гарновец, сдерживая дрожь в руках, зажег спичку и поднес ее к ленте, тянущейся по полу. Он хотел сосредоточиться, но мысли бежали вразброд, а в ушах почему-то звучала песенка о Лили Марлен, прилипчивая, как бумага для мух.

Он рванулся из кинобудки вниз, пропуская ступеньки пожарной лестницы, и бросился через двор.

Сколько времени оставалось в его распоряжении? Каждую секунду он ощущал сейчас в полном объеме.

Он отчетливо представлял себе желтый язычок пламени, торопливо бегущий по киноленте. Где-то он сейчас, вонючий огонек? Добрался ли до подвала?

Страшный удар сбил его с ног. Будто кто-то, горланя про Лили Марлен, гнался за ним, догнал и двинул со всего маху кулаком в спину.

Гарновец вскочил оглушенный. Он боялся только одного — чтобы не лопнули виски, чтобы достало сил не закричать от боли и добежать до дому, а оттуда в лес.

Табличка «Запасный выход» мельтешила у самого лица, красные буквы прыгали перед глазами, потом слились все вместе в одно красное пятно, пятно стало вертеться, сперва медленно, потом быстрее, застилая все вокруг красной пеленой, так что и скользкий, слякотный снег и лужи — все стало красным.

«И запасный выход не помог! — подумал Гарновец с веселым злорадством.— Там и на испуг не осталось времени. Ну и шарахнуло! Чем же все-таки кончается эта дурацкая картина «Меня любит весь полк»? Сам не знаю, и никто не узнает».

Дома он не задерживался, а пока дрожащими руками напяливал тулуп, наставлял стариков:

— Меня в живых нет. Убит при взрыве. Скажите Ксане — ушел к Савелию Васильевичу. Будет оказия — дам знать.

Он выбежал в ночь, освещенную заревом.

К утру раскопки были закончены Носилки мало кому потребовались,— нужда была в гробах. Взрывом разворотило весь зрительный зал, а на него обрушилась крыша На месте партера было крошево из кресел, стропил, досок, балок, рваной кровли. Видимо, возчик дров хорошо знал свое дело.

Мать Сергея все боялась, что не сумеет заплакать на людях. Но слезы появлялись уже от одной мысли, что ей едва не довелось оплакивать сына на самом деле.

Старикам пришлось пойти на похороны русских, пострадавших при взрыве. Но в тот час им не нужно было притворяться опечаленными, потому что в числе убитых была Ксана Лицо ее не пострадало. Те же изогнутые брови, придающие лицу несколько удивленное выражение, тот же высокий лоб. Мать Сергея поцеловала ее в холодный лоб и перекрестила.

Вечером в доме Гарновца собрались соседи, родичи. Как ни горько было поведение Сергея и Ксаны, они не видели в том вины родителей и не хотели отказать им в своем сочувствии

— То-то я овес во сне видел,— мрачно сказал крестный Сергея.— Овес всегда к слезам. Не хотел Сергей партизанить — переждал бы в укромном месте. А то выдумал себе работу: фашистов веселить! И Ксана тоже запачкалась Оба характером не вышли. Теперь их одна могила приютила.

— Бог их рассудит,— глухо сказал отец и опустил голову на руки

Мать заголосила. От жалости к Ксане? Или от обиды за Сергея?

Старики увидели сына только через два с лишним года, после того как городок был освобожден Красной Армией.

Всюду в те дни устраивали торжественные встречи молодым и пожилым бородачам, наперебой угощали табаком, по которому так изголодались лесные люди. Невесты, жены, матери, дети бросались им на шею. А они шли, увешанные трофейным оружием и одетые всяк по-своему.

Картузы, треухи и папахи совсем не по сезону, немецкие фуражки с высокой тульей, невесть откуда взявшиеся буденовки, пилотки, фетровые шляпы, изорванные о

сучья, а то и просто непокрытые, давно не стриженные, взлохмаченные головы...

Повсеместно в селах, городках и местечках чудесным образом расшифровывались клички и буквы алфавита, которые прежде мелькали в сводках Совинформбюро. И в городке, о котором идет речь, узнали, что знаменитый «Кочубей» — это и есть Савелий Васильевич; комиссар отряда «Мститель» товарищ Т.— учитель Тышко; отважный разведчик товарищ С.— кассирша универмага Станкевич, а товарищ Г., пустивший под откос 16 немецких эшелонов,— киномеханик Гарновец.

Он наведался к кинотеатру, прежде чем явился домой. Обломки стен образовали пустую каменную коробку. Сквозь щебень пробивалась чахлая трава.

Гарновец долго вглядывался в развалины, будто над ними могла каким-то чудом уцелеть его кинобудка. Голубое небо над головой, голубое небо в проломах стен, в окнах. Ленивый теплый ветер разгуливает по руинам и гремит вверху ржавыми обрывками кровли.

Он снял фуражку и сел на придорожный камень, держа автомат между коленями. Давно узнал он о судьбе Ксаны, но обстоятельства ее гибели остались загадкой. Может быть, она сбилась со счета, отсчитывая части картины; может быть, сосед силой удержал ее на месте; может быть, она осталась, чтобы бегством из зала не вызвать подозрений.

Гарновец хотел вступить в Красную Армию, но его оставили дома.

Теперь все знакомые здоровались с ним предупредительно, причем особенно вежливы были те, кто оскорблял прежде мысленно или на словах его самого или Ксану. Гарновец отвечал на поклоны, но сам не заговаривал, на вопросы отвечал односложно.

Он даже ходил на какие-то собрания, сидел в президиумах, но производил впечатление человека бесконечно усталого, равнодушного.

Аринич первым догадался прийти к Гарновцу с предложением взяться за восстановление кинотеатра. Правда, это не стройка первой очереди. В городе много зданий, которые нужно поднять раньше кинотеатра. Но дойдет очередь и до «Олимпа», может быть даже в будущем году.

Гарновец горячо взялся за работу. Восстановление кинотеатра стало для него кровным делом.

Он ездил с кинопередвижкой в колхозы, а после оттуда присылали лошадей, и те работали на стройке по нескольку дней. Иногда возчики с подводами оставались на стройке после воскресного базара.

Лебедками вызвался управлять инвалид, по прозвищу «Паша-клеш», балтийский моряк, неведомо как попавший в этот сухопутный городок. «Паша-клеш» ковылял на своих костылях откуда-то издалека, но на стройку являлся чуть свет, а покидал ее только с наступлением темноты.

Комсомольцы лесопильного завода чуть ли не каждую неделю несли вахту имени партизанки Ксаны Олейник и доски, напиленные сверх плана, привозили на стройку.

В День Победы, когда над городком прогремел свой, самодеятельный салют, стройка была в разгаре.

В городке строилось немало домов, и было к чему приложить руки, но никуда молодежь не шла так охотно на помощь, как к Гарновцу. Что касается самого Гарновца, то он совсем забыл дорогу домой. И отец его и крестный определились работать на стройку плотниками, а мать три раза в день приносила всем им поснедать.

Кинотеатр поднял стены за несколько месяцев и намного обогнал все другие стройки.

Собираясь в областной центр с докладом, Аринич говорил не то шутя, не то всерьез:

— Опять Савелий Васильевич при всем народе меценатом обзовет.

Наконец пришло время позаботиться о фильме для торжественного открытия.

— Поновее картину подбери,— напутствовал Аринич Гарновца.— Пусть там в области побеспокоятся. Такую картину привези, которую сейчас в Москве смотрят.

Гарновец вернулся на следующий день, накануне открытия.

— Ну, привез новую картину? — спросил Аринич.

— Нет, Роман Андреевич. Я «Чапаева» на открытие взял.

— «Чапаева»?

— Думал, так лучше будет,— смутился Гарновец.

— Пожалуй, так лучше,— согласился Аринич.— Очень хорошо! Пусть «Чапаев». Отлично!

Но все-таки в глубине души Аринич был огорчен тем, что нет новой картины, и обеспокоен выбором Гарновца. Беспокойство Аринича увеличилось еще больше, когда он узнал, что на открытие кинотеатра приехал сам Савелий Васильевич.

3

Аринич поблагодарил родителей Гарновца за угощение и поспешно ушел в горсовет. Вслед за ним заторопились Тышко и Фрося; ей по-прежнему не удавалось выглядеть строгой.

Гарновец побежал обратно в кинотеатр, чтобы еще раз проверить, все ли готово: докрасил ли «Паша-клеш» входную дверь, убрана ли последняя стружка, последние щепки и опилки.

Я остался в доме Гарновца, так что и на открытие отправился со стариками.

Кинотеатр был переполнен, сеанс должен начаться с минуты на минуту, а мне еще нужно было разыскать в этой праздничной толчее Гарновца, Аринича, Тышко и Фросю. Времени оставалось в обрез — я не мог досмотреть картину до конца: пора прощаться.

Аринич первым протянул мне на прощание руку:

— Ну, спасибо, что проведал. Очень хорошо! Отлично! Теперь приезжай в Октябрьские праздники. Открываем больницу. Если не открою в срок — не жить мне на белом свете. Восемьдесят коек. Операционная. Рентгеновский кабинет. Приемный покой... Не больница, а тысяча и одна ночь! Буду ждать... Нет-нет, и слушать не хочу! Приезжай обязательно. Ты как, на вокзал дорогу найдешь? Или тебе связного дать? Ну, тогда еще раз прощай...

Будто Аринич провожал меня, стоя на пороге своего блиндажа, а мне предстоит идти по дороге, которая простреливается.

Прежде чем начался сеанс, перед экраном появилась фигура человека с золотой звездочкой на отвороте пид-

жака, и я сразу догадался, что это и есть Савелий Васильевич.

Как ни старался, я не мог представить себе этого лысого, бритого, толстолицего человека в роли партизанского «Кочубея».

Он был краток и почти каждую фразу сопровождал энергичным жестом. Тень от его руки, фантастически увеличенная, то и дело появлялась на белом полотне экрана, подчеркивая весомость слов.

В заключение он попросил почтить вставанием память Ксаны Олейник.

И вот наконец стук кресельных сидений стих, в зале погас свет, и лишь табличка «Запасный выход» светилась где-то сбоку, вырывая из темноты красную притолоку двери.

«Чапаев» властно овладел залом. Зрители воспринимали картину как новую. За годы войны подросли ребятишки, которые не видели «Чапаева» прежде. В зале сидели старики, которые не бывали в кино до войны. Но и те, кто помнил «Чапаева», смотрели картину сейчас как бы впервые. Будто Василий Иванович Чапаев тоже был партизаном, каким-нибудь товарищем Ч., и воевал не где-то за Волгой, а вот здесь, недавно, в Белоруссии.

Картина была сильно изношена, лента часто рвалась. Но как великодушен был зал, с каким почтительным терпением сидели зрители во время этих заминок! Никто не топал ногами, никто даже не решился закричать: «Дядя Сережа, рамку!»

В темноте я наскоро попрощался с родителями Гарновца и, пригнувшись, торопливо вышел из зала.

Дорогу на станцию я знал плохо, и полная оранжевая луна была очень кстати. Плотные тени причудливой формы лежали на широкой немощеной улице. Тени были с рваными краями и с синими прорехами там, где лунный свет проникал сквозь оконные проемы и проломы в стенах.

После Москвы казалось, что городок этот еще затемнен по случаю воздушной тревоги.

Не было надобности искать свой вагон где-то в тупике на станционных задворках. Почтовый поезд на Бобруйск ждал отправления на перроне станции, паро-

воз был под парами, и тут же, в голове поезда, стоял наш офицерский вагон.

В купе накурили так, что третьих полок не было видно. Два чемодана, один на другом, составили столик. Вокруг него сидели с картами.

— Куда это вас, батенька, носило? — спросил подполковник, не отводя глаз от карт и с фамильярностью, которую он считал уместной в разговоре со всеми, кто был ниже его по званию.— В кино? Это после Москвы-то? Ха-ха! Вот рассмешил!

— А что удивительного? — подал голос пассажир с верхней полки. Теперь уже можно было разглядеть его за табачной завесой. Он следил за игрой, свесив голову вниз, и засматривал в карты то к одному, то к другому.— Не все ли равно: тут скучать или там скучать? Во всяком случае, веселее подкидного дурака.

— Тем более, если новая картина,— заметила хорошенькая фельдшерица.

— Картина шла старая — «Чапаев».

Кто-то иронически свистнул. Мой сосед, пассажир с верхней полки, взял «Чапаева» под защиту, но его никто не слушал. Подполковник уже перетасовал колоду, карты сданы, бубны — козыри.

Я залез на свою полку, повисшую в сизом дыму, лег и закрыл глаза.

Ни кондукторского свистка, ни ответного гудка паровоза я не слышал, и вагон дернулся с места, полный внезапного грохота.

1947

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ

1

Столь маленькой станции больше подошло бы название разъезда или полустанка. Курьерский поезд высокомерно пролетал мимо, почти не снижая хода на стрелках, не снисходя к этой глуши. И даже неторопливый почтовый поезд задерживался здесь минуты на две, не больше.

Левашов не успел хорошенько осмотреться, надеть кожанку, закурить, как с ним уже поравнялся хвост поезда.

На ступеньке последнего вагона стоял скучающий кондуктор. Он держал в руке такой обтрепанный флажок, что нельзя было понять, какого же он цвета — желтого или красного.

В лицо ударили крошки шлака и песчинки. Следом за поездом, не отставая от него, кружилась своя маленькая метель, пахнущая перегретыми буксами и каменноугольной смолой.

Вокзалом служил пассажирский вагон, снятый с колес. Двери были на уровне земли, без ступенек.

Холмы, заросшие крапивой и бурьяном, указывали место бывшей станционной постройки.

С севера, вплотную к станции, подступал лес, и по кромке его, по соседству с железнодорожным полотном, шел большак. Левее, за лесом, лежала деревня, названия которой Левашов не помнил.

Несколько женщин в платках, военный с зеленым сундучком, старик в несвоевременном ватнике и девушка с гитарой торопливо, держась вместе, зашагали по большаку налево.

Левашов ушел по шпалам в противоположную сторону. Насколько он помнил, ему следовало дойти до семафора, перейти через рельсы и свернуть на проселок, идущий полем. Он несколько раз оглядывался на группу удаляющихся пассажиров. У него попутчиков не нашлось...

Перед отъездом из Москвы все было ясно и просто. Давно, еще во время войны, он клятвенно обещал себе, если останется жив, проведать Большие Нитяжи, поклониться Алексею Скорнякову.

«Заодно отдохну как следует,— подбадривал он себя, стоя на перроне Белорусского вокзала.— Не то что в городе. Даже в Петровском парке пыль. На водной станции «Динамо» к воде не протолкаться. А там, в Нитяжах,— луга, леса, Днепр рукой подать. Лучше всякой дачи».

Он сел в поезд с сознанием, что выполняет давнишний долг, и ему было лестно думать, что он умеет держать слово, даже если оно дано самому себе.

Но сейчас собственная решимость, которая еще недавно его умиляла, представлялась ребячеством.

Безлюдный проселок то нырял в лес, где уже чувствовалось приближение вечера, то вновь стремился в поле. Нужно отшагать еще не меньше семи километров, прежде чем он доберется до этих Нитяжей.

Им овладело беспокойство, знакомое одинокому путнику, который на исходе дня не знает, под какой крышей доведется ему ночевать.

Проселочная дорога, по которой он шагал сейчас, была хорошо памятна. Почему же она кажется незнакомой? И Левашов понял, откуда идет это ощущение новизны — от тишины вокруг, которая в те дни здесь, на переднем крае, если и наступала, то была ненадежной, недолговечной.

За леском показались Малые Нитяжи, но Левашов прошел мимо не останавливаясь; нетерпение подгоняло его.

Наверно, и имени Алексея Скорнякова никто не слышал в этих местах. Но кого же винить? Все, что он, Левашов, успел тогда сделать,— это написать чернильным карандашом на бумажке имя, фамилию, звание и еще несколько слов, которые пишут в таких случаях. Бумажку положили под каску, второпях произвели салют, подняв автоматы к пасмурному небу, и бросились догонять ушедших вперед товарищей. Атака уже началась, и траурный салют прозвучал в разноголосице боя, как деловитый залп по врагу. Потом начался дождь, и Левашову еще тогда отчетливо представилась размокшая бумажка

в чернильных подтеках, расплывшихся настолько, что и разобрать ничего нельзя...

Вот и речонка Нитяжка. Перед мостом, на обочине дороги, стоит шест с синей табличкой «Большие Нитяжи», оставленный армейскими дорожниками. Левашов помнил на этом месте желтую немецкую табличку, на которой название деревни было выписано витиеватыми готическими буквами.

Он перешел через мостик, который сейчас, в августе, был чересчур солидным для худосочной речонки, лениво текущей в пологих берегах. Сумерки перекрасили траву в серый цвет. Женщина, полоскавшая серое белье, с усилием распрямила спину и проводила Левашова долгим взглядом.

Придорожные ветлы, знакомый поворот дороги, а за ним, на бугре, должна быть могила Алексея Скорнякова. Найдет ли он это место? Не сравнялся ли безвестный холмик с землей?

Он увидел ограду, за ней обелиск со звездочкой на точеном шпиле и холмик, лиловый от колокольчиков.

Он подбежал ближе и прочел на дощечке: «Гвардии старшина Алексей Скорняков. Пал смертью храбрых в боях за Родину 26 июня 1944 года». Все, что Левашов второпях написал на бумажке, лаконичная фраза, в которую нужно было вместить всю скорбь.

Левашов постоял, обнажив голову, затем опустился на траву. Наверно, он просидел долго — не могло же так быстро стемнеть.

Председателя колхоза он нашел на краю деревни, в блиндаже, уцелевшем со времени войны. Шаткий огонек в снарядном колпачке выхватывал из темноты человека, сидящего за столиком, кусок бревенчатой стены и карту на ней.

— Мне председателя правления колхоза.

— А вам по какому делу? — спросил человек за столиком, оторвавшись от бумаг.— Ну, я председатель. А вы небось уполномоченный? От какой организации?

— От самого себя.

Председатель сдвинул брови, стараясь в темноте рассмотреть прибывшего.

— Приехал погостить. Воевал в этих местах. Товарищ тут похоронен.

Левашов показал рукой в сторону, откуда пришел.

— Гвардии старшина Алексей Скорняков?

— Да. Алеша Скорняков...

— Уважаем твоего товарища как героя. А что за человек, в подробностях никто не знает. Будем знакомы. Иван Лукьянович.

— Левашов.

— Та-ак... Значит, не уполномоченный? Чего же ты, друг, там у входа хоронишься? Шагай смелее к свету, садись. А я, признаться, думал, опять меня по какой-нибудь статье обследовать собрались.

И в полутьме видна была его улыбка. Когда Иван Лукьянович убедился, что перед ним не официальное лицо, он сразу повеселел и перешел на «ты».

— Та-ак... А ты из каких же мест будешь? Из самой Москвы? Газетки свежей не прихватил?

— Не догадался.

— Жаль, жаль. Я от международного положения на три дня отстал. Известное дело — деревня. Как там, короля-то из Италии уже выселили?

— Не в курсе.

Иван Лукьянович укоризненно посмотрел на Левашова: «Что же ты, братец, так оплошал?»

Длинные, прямые, чуть сросшиеся брови и такие же прямые усы перечеркивали лицо Ивана Лукьяновича двумя черными линиями. Когда он улыбался, то сразу молодел, как все люди с хорошими зубами. Под латаной гимнастеркой угадывались мощные плечи и грудь. Еще когда Левашов поздоровался, он почувствовал, что эти большие руки налиты железной силой, как у лесоруба или кузнеца.

Широкоплечая тень ложилась на стену рядом с картой. Теперь можно было разглядеть, что это карта Южной Америки. Где-то в окрестностях Рио-де-Жанейро торчал гвоздь, и на нем висела армейская фляга.

На лежанке у противоположной стены спала или притворялась спящей женщина, а в изголовье, поперек лежанки, спали в обнимку двое детей.

Иван Лукьянович был огорчен тем, что негде устроить гостя и придется отправить его на жительство

в школу. От ужина Левашов отказался. Иван Лукьянович вызвался проводить гостя и вышел, хромая, из-за столика. В руке у него оказалась палка.

— Зачем же беспокоиться? Доберусь как-нибудь.

— Думаешь — калека? — обиделся Иван Лукьянович.— Да я со своим посохом бегом бегаю. Не всюду на таратайке проедешь.

— Когда думаете отсюда выселяться? — спросил Левашов, на ощупь поднимаясь из блиндажа по осыпающимся ступеням.

— Строят мужички себе дома, строят. Каждый день лес возим. Целый обоз отрядили. Завтра услышите. Как дятлы, топорами стучат.

— А сами когда переезжаете?

— Пусть сперва народ отстроится. Раз начальство— значит, должен очередь уступать. Примеряюсь самым последним переехать. Я ведь хитрый! Самое-то большое новоселье будет напоследок. Праздник какой!..

«А ведь и в самом деле праздник,— подумал Левашов, шагая в темноте за Иваном Лукьяновичем.— Боюсь только, что забудет председатель тот день отпраздновать».

Стемнело так, что избы смутно угадывались, и не видно было верхушки колодезного журавля, хотя прошли мимо самого колодца.

Заспанная сторожиха встретила постояльца без раздражения, но и не особенно приветливо.

— Может, Никитична, устроишь гостя в комнату Елены Климентьевны? — спросил Иван Лукьянович.— Вернется она только к занятиям...

— Лучше я где-нибудь в классе переночую.

— Конечно, в классе,— поспешно сказала Никитична. Ей не хотелось пускать чужого человека в комнату Елены Климентьевны, а потому особенно понравилась непритязательность приезжего.— А чем плохо в классе? Полы у нас мытые, крашеные. Постелю молодцу плащ-палатку, подушку найду, матрац свежим сеном набью.

— Совсем хорошо!

— Уполномоченный? — спросила Никитична, разжигая лампу, когда Иван Лукьянович ушел.— У нас тут даже целыми комиссиями ночуют. Только окурками не

разбрасывайся — еще пожару наделаешь. Уполномоченные всегда так дымят, будто у них и дел других нету... Ах, сам от себя? Ну, тогда тем более отсыпайся.

2

Проснулся Левашов от скрипа открываемой двери. На пороге, опершись на палку, стоял Иван Лукьянович.

— Извиняюсь за раннюю побудку. Известно, с петухами встаем, с курами спать ложимся. Деревня! А Никитична уже самовар сочинила. Молоко там, оладьи, яички и прочие припасы питания.

Левашов торопливо вскочил, оделся, побрился. Теперь, после бритья, он выглядел лет двадцати шести, не более. Румянец во всю щеку, и в то же время у глаз, у рта ясно обозначались морщины и на висках белела седина, будто не смытая мыльная пена, засохшая после бритья.

Левашов чаевничал, а Иван Лукьянович потчевал его так, будто хозяйничал у себя дома.

Иван Лукьянович, видимо, соскучился по собеседнику. Сперва он повел речь о подкормке льна-долгунца минеральными удобрениями, затем подробно рассказал о том, как его эвакуировали после ранения с поля боя («перед самой границей, не пришлось на фашистское логово посмотреть»), затем помянул недобрым словом тракториста Жилкина за огрехи и, как бы подводя итог всему сказанному, с силой ударил ребром мощной ладони по столу:

— Что ни говори, но этот Франко досидится там у себя в Испании. Он бы нам тут попался где-нибудь в лесу! Вспомнили бы ему Голубую дивизию! Быстро бы его партизаны причесали. До первой березы и довели бы только. Как предателя! С конфискацией всего имущества...

После завтрака Левашов вышел на крыльцо и увидел на ступеньках двух мальчиков.

Белоголовый, голубоглазый, плечистый мальчик уставился на Левашова, открыв рот. Он был в домотканой рубахе, не знающей пуговиц, так что виднелись грудь и коричневый живот. Одна штанина спускалась почти

до щиколотки, другая, с бахромой внизу, едва закрывала колено. Он с нетерпением ждал появления Левашова и сейчас вперил в него восхищенный взгляд.

Второй был чуть повыше ростом, худощав. Из-под пилотки торчал темный чуб. Все на нем было не по размеру: пилотка лежала на оттопыренных ушах, рукава у гимнастерки были непомерно длинны, раструбы галифе приходились ниже колен. Он смотрел на Левашова со сдержанным любопытством, к которому было примешано недоверие. «Нужно еще поглядеть, что за человек»,— как бы говорили его настороженные, совсем взрослые глаза.

— Здорово, герои!

— Здравствуйте, дяденька! — торопливо ответил белоголовый.

— Ну, здорово,— не спеша и будто нехотя отозвался мальчик в пилотке.

— Кто же из вас старше?

— А мы одногодки.

— Сколько же годков приходится на двоих? Если оптом считать?

— С тридцать пятого года...— сообщил белоголовый.

— Таблицу умножения проходили? Двенадцать на два — вот и выйдет оптом,— сказал мальчик в пилотке.

Он не любил, когда с ним шутили.

— А звать вас как?

— Санькой.

— Павел Ильич,— отрекомендовался мальчик в пилотке. И тут же деловито осведомился, указав подбородком на ордена: — Тот, который с краю, Отечественной войны орден?

— Так точно.

— Какой же степени?

— Второй.

— Лучше бы первой. Первая степень старше.

— Что же теперь делать, Павел Ильич? Не заслужил больше.

— Надо было лучше стараться,— наставительно сказал Павел Ильич.

— В другой раз буду знать,— ответил Левашов серьезно.— Ты, Павел Ильич, не очень меня ругай, а

лучше скажи, где у вас тут самое знаменитое место для купанья.

— Мы вам, дяденька, пойдем покажем,— вызвался Санька.

— Ради компании, так и быть, сходим,— сказал Павел Ильич.— Заодно черники наберу.

Резким движением локтей он поправил сползающие штаны и пошел вперед.

Теперь, при свете дня, Левашов увидел всю деревню из края в край.

Избы поредели и стояли, отделенные друг от друга большими пустырями. Между старыми избами поднимались вновь отстроенные; свежие бревна еще не всюду утратили свою белизну. Некоторые избы были подведены под крышу, на других усадьбах стояли срубы — повыше, пониже.

Печи сгоревших домов были разобраны, кирпич вновь пошел в дело. И только у одной закопченной печи, стоящей под открытым небом, хлопотала хозяйка. И так она привычно орудовала ухватом и переставляла горшки на загнетке, словно стряпала у себя в избе. Недалеко от печи, под конвоем обугленных яблонь, ржавел немецкий танк. Павел Ильич торопливо спустился тут же, по соседству, в подвал сгоревшего дома. Пепелище было огорожено плетнем, на котором сохли цветастое белье и глиняные горшки, насаженные на колья. Как ни в чем не бывало на пустырь вела калитка.

Павел Ильич появился такой же степенный, с краюшкой хлеба и с небольшим латунным ведерком, сделанным из снарядного стакана.

«Калибр сто пять, немецкий»,— отметил про себя Левашов.

— Пашутка! — закричала вдогонку простоволосая женщина.

Ее голова показалась над землей из подвальной двери.

Павел Ильич сделал вид, что не слышит.

— Пашутка-а-а! Может, сперва поснедаешь?

— Успею. Не грудной!..

Он был явно недоволен этим «Пашуткой», прозвучавшим так некстати в присутствии приезжего...

Война напоминала о себе на каждом шагу.

Перед высокими порогами изб в качестве приступок лежали снарядные ящики. На санитарной повозке с высокими колесами, явно немецкого происхождения, провезли в кузницу плуг. Прошла баба с ведрами на коромысле — под ведра были приспособлены медные снарядные стаканы.

«Калибр сто пятьдесят два. Наши»,— определил Левашов.

Впервые он шел днем по этой деревне не хоронясь, не пригибаясь, ничего не опасаясь, и счастливое ощущение безопасности овладело всем его существом.

Ныне Большие Нитяжи вытянулись дальше прежней своей околицы, туда, где на восточном скате холма находился когда-то командный пункт дивизии. Разве думали саперы, мастерившие блиндажи в пять накатов, что после войны в них будут жить погорельцы!

Еще с холма показался за перелеском Днепр. Близость его заставила невольно ускорить шаг. Скоро их отделял от реки только просторный луг, но босоногие проводники Левашова пошли не напрямик, а в обход.

По краю луга тянулась колючая проволока. Дорога заросла настолько, что едва угадывалась. Когда-то дорога шла лугом к мосту; теперь из воды торчали только сваи, похожие на черные огарки.

Днепр в этих местах не широк, он капризно петляет в верховьях. И Левашов смотрел сейчас и никак не мог припомнить, сколько же раз ему пришлось форсировать этот молодой Днепр — четыре или пять?

— Земляники там летом было! — сокрушенно сказал Санька, кивнув на луг.— Страсть!

— И вкусная?

— Кто знает? Туда никто не ходит. Мин там немецких...

— Насажали мины, как картошку,— сказал Павел Ильич, явно с чужих слов.— Позапрошлым летом туда стадо ушло — двух коров на куски разорвало. А пастуха деда Анисима так тряхнуло, что на все лето оглох.

Левашов замедлил шаг, приглядываясь к лугу, покрытому рослой увядшей травой.

— Ох и трава высокая! — сказал Санька с восхищением.

— Скажешь тоже! — возмутился Павел Ильич.— А толку от нее? Здесь бы косарям пройтись по второму, а то и по третьему разу...

Ну конечно же, тот самый луг! Тогда трава поднималась человеку по пояс. Росистая трава хлестала по мокрым коленям, цеплялась, хватала за ноги. Каких трудов стоило проделать в этом минном поле «калитку» для пехоты, когда готовились форсировать Днепр!

Левашов стоял, отдавшись воспоминаниям. Санька стоял с ним рядом молча и недвижимо. Но Павел Ильич сказал, недовольный:

— Чего тут стоять, глаза пялить? Идти так идти...

Санька еще не успел добежать до берега, как уже на ходу начал стаскивать с себя рубаху. Он бултыхнулся в воду, когда Павел Ильич по-хозяйски складывал на берегу свои исполинские галифе. Санька купался вблизи берега; несколько раз он вылезал из воды, но не успевал обсохнуть — и нырял снова. Павел же Ильич вошел в воду не торопясь, но заплыл далеко, к черным сваям моста. С криком: «Вертун здесь, да глубокий!» — он нырнул и надолго исчез под водой.

Лязгая зубами, посиневший Павел Ильич натянул гимнастерку на мокрое тело и сказал:

— Раньше того омута не было.

— Ох и воронка здоровая! — вмешался Санька.

— Какая бомба, такая и воронка,— солидно пояснил Павел Ильич.— Этой бомбой немцы мост примерялись разрушить.

После купания Павел Ильич отправился по ягоды, а Левашов и Санька расположились на берегу, в ивняке. Санька не мог усидеть на месте. Он то вскакивал с воинственным криком «чирки!», то его внимание привлекал всплеск рыбы на середине реки.

В обратный путь купальщики двинулись, когда солнце было на обеде. Павел Ильич нес ведерко, полное черники. Пальцы и губы у него были под цвет ягоды.

Деревенские ребятишки издали с завистью смотрели на Саньку и Павла Ильича, сопровождавших приезжего дядьку при орденах. Санька посматривал по сторонам с откровенным торжеством, Павел Ильич делал вид, что ребят не замечает, он то и дело косился на свое ведерко.

Верхом на стене сруба, белевшего впереди, сидел бородач с топором. Едва Левашов поравнялся с ним, он перегнулся вниз и крикнул:

— С гвардейским почтением!

После этого было уже неудобно пройти мимо, не угостив мужичка папиросой.

И космы на его голове и бороденка очень походили на мох, которым он заделывал пазы между бревнами.

— Не из Одиннадцатой армии, случайно? — спросил мужичок, прикуривая.

— Нет.

— И до каких чинов дослужился?

— Старший лейтенант.

— Не из артиллеристов, случайно?

— Сапер.

— Нашего племени! — крикнул мужичок неожиданно громко и с еще более неожиданным проворством спрыгнул на землю. Он стал навытяжку, выпятил грудь и отрапортовал: — Гвардии рядовой Страчун Петр Антонович! Саперного батальона гвардейской дивизии, генерала Щербины Ивана Кузьмича.

— Часто упоминался в приказах Верховного Главнокомандующего,— сказал Левашов, желая польстить Страчуну.

— А как же! — просиял Страчун.— Я семь благодарностей ношу от товарища Сталина. На всю жизнь навоевался. Теперь хочу семейство под крышу определить. А то пойдут дожди,— Страчун опасливо взглянул на облако, одиноко странствующее в голубом небе,— утонем в землянке всем семейством, и поминай как звали. Помощники вот у меня не шибкие — сосед-инвалид, баба и дочка. Сына бы сейчас сюда, Петра Петровича, который в Кенигсберге-городе голову сложил! Мы бы с ним вдвоем быстро управились. Между прочим, сын тоже по саперной части воевал.

Страчун горестно махнул рукой и, как бы спохватившись, что дельного помощника нет и не будет, а работа стоит, опять вскарабкался на сруб. Уже сидя верхом на бревне, Страчун крикнул уходящему Левашову:

— А товарищ, который в нашей земле покоится, в каких войсках, случайно, служил?

— Сапер! — ответил Левашов уже издали.

3

После обеда Левашов отправился к деду Анисиму, бывшему пастуху. Он нашел его в избе, которая показалась Левашову знакомой. Ну конечно же! В этой избе располагался их комендантский взвод. Эта печь была всегда заставлена со всех сторон сапогами, ботинками, завешана портянками, от которых поднимался удушливый запах.

И сейчас в избе было очень тесно: очевидно, здесь ютились две, а то и три семьи. В сенях шумела ручная мельница — две девушки мололи зерно нового урожая и при этом все время перешептывались.

Дед Анисим сидел на печи, опершись руками о край ее, пригнув голову, свесив ноги в лаптях. Он часами сидел в такой позе, словно вот-вот спрыгнет. Внимательно и дружелюбно смотрел он на Левашова выцветшими глазами, которые когда-то были голубыми.

— Значит, на обочине брошенной дороги? — допытывался Левашов.— И далеко от колючей проволоки?

— Саженях в десяти она и лежала. Беспощадно минировал, ирод! Как шибанет! Двух коров — прямо на куски. Особенно Манька хороша была — редкого удоя корова. Две недели всем колхозом мясо ели...

— Больше жертв не было?

— В другой раз заяц забежал на луг и тоже угадал на мину. Та хоронилась подальше от дороги. А все проделки этих иродов! И я тоже, внучек, чуть-чуть на смерть свою не наступил, хотя умирать никак не согласен. При неприятелях звал смерть, а сейчас не хочу. Потом, когда освободили меня, захотелось до победы дожить. И что же? Дожил! Ведь дожил! Теперь соображаю до полного расцвета жизни дожить. Ведь сейчас,— дед Анисим перешел на шепот, будто сообщал Левашову что-то весьма секретное,— только рассвет настоящему дню наступает. Жизнь только начинает развидняться. Хочу, чтобы избы новые, а в них — ни соринки, ни грязинки. Чтобы было чем хороших людей угощать. Мне теперь до полной жизни дожить требуется.

— Обязательно доживешь, дедушка!

Дед Анисим сердито посмотрел в угол, где возились ребятишки и заливисто ревел голый карапуз. Девочка

лет семи, по-старушечьи повязанная платком, твердила испуганным шепотом:

— Молчи, Ленька, молчи, пострел! А то «рама» прилетит.

Дед Анисим еще больше свесился с печи к лавке, на которой сидел Левашов, хитро сощурил зоркие глаза и сказал, снова доверительно понизив голос:

— Я еще и в школу этого Леньку провожу. Мало бы, что восьмой десяток! До настоящей жизни дожить — и сразу на погост? Мне умирать не к спеху...

Напоследок дед Анисим все-таки спустился с печи и сам проводил гостя до ворот. Старик оказался высокого роста и держался не по-стариковски прямо.

4

Наутро Левашов вновь отправился с мальчиками к реке. На этот раз он прихватил с собой учебник, однако «Сопротивление материалов» поддавалось с трудом. Никак не идут в голову формулы, расчеты, когда рядом лениво плещет вода, в осоке крякают утки и такая вокруг благодать, что хочется лежать и лежать на траве, запрокинув голову к небу, не шевелясь, ни о чем не думая.

Но смутная тревога все-таки не оставляла Левашова, и касалась она вовсе не предстоящего зачета и не каких-нибудь других дел, а почему-то соседнего луга. Эта навязчивая мысль стала его под конец раздражать.

Левашов встал, обошел луг кругом, вдоль колючей изгороди, нашел на стёжке черную табличку «Ахтунг, минен!», забытую немцами, затем подобрал штык. Он взял в руку этот ржавый штык, шагнул за проволоку и, раздвигая траву руками, осторожно пошел по лугу. Иногда он подолгу стоял на одной ноге, вглядываясь вниз, затем крадучись делал еще шаг. Он тыкал в землю штыком, как щупом, и делал это, как опытный сапер: щупая землю, он держал штык наклонно.

Роса в августе уже не высыхала до полудня и блестела на солнце, а потому трава, примятая сапогами, матовая от сбитой росы, отмечала путь Левашова.

Мальчики остались ждать на стёжке за изгородью.

Санька стоял с круглыми от испуга глазами. Павел Ильич строго смотрел вслед Левашову, ступающему по лугу: «Взрослый человек, а озорует. Ну зачем со смертью в жмурки играть? Как дитя малое!»

Обратно к стёжке Левашов пробрался по примятой траве, хранившей его следы. Он молча, одну за другой, выкурил две папиросы, а затем сказал:

— Ты мне, Павел Ильич, в лесу удилище срежь.

— Можно,— вздохнул Павел Ильич.— Только зря время проведете. Куда ее, плотву? Баловство одно. Наживка дороже.

— А мы и без наживки обойдемся. И без лески. И без крючка.

Санька был явно заинтригован, но ничего не решился спросить, а Павел Ильич держался так, будто все понимает, но не хочет попусту трепать языком.

— И тебе есть задание, Санька,— сказал Левашов.— Заготовь хорошую вязанку прутьев...

Левашов возвращался в школу, занятый своими мыслями, и даже на «гвардейское почтение» Страчуна ответил небрежным кивком. Тот ждал, что его угостят папироской, и посмотрел Левашову вслед с печальным недоумением.

Страчун сидел верхом на выросшей стене сруба, будто не слезал оттуда со вчерашнего дня, а кто-то подложил под него несколько новых венцов. Уже белели свежеотесанные стропила — скелет завтрашней крыши...

К вечеру в школу явился Иван Лукьянович; ему не терпелось посудачить на международные темы.

Левашов встретил его вопросом:

— Что решили делать с лугом?

— На военном положении земля. Про случай со стадом и с дедом Анисимом слышали? Так это — маленькое происшествие. У нас весной потяжелее случай был. Двух пахарей убило. Задели лемехом за мину. Приехали минеры из Смоленска, всю пашню обыскали. Полную коллекцию мин и снарядов собрали, на все фасоны. Ты, может, думаешь, фашист только деревню разрушил? Он и землю нашу разрушил. Сколько земли засыпать нужно, сколько мин разоблачить, сколько снарядов и бомб собрать, которые еще заряд держат!

— Ну, а как с лугом?

— Сказали: огородите, ждите очереди. Сперва все пашни обыщут, потом за луга примутся. А пастух с подпасками совсем с ног сбились. Гоняют стадо по лесу, с поляны на поляну. А траву как косим? Раз замахнешься косой — трава, второй раз замахнешься — пенек или кочка. Что же делать? Сразу всей земли не освободить. А на лугу мин больше, чем картошек на огороде...

— Вот я и хочу, Иван Лукьянович, этот луг прибрать. Только голыми руками до мин не доберешься. Придется в Смоленск съездить, в штаб разминирования.

Иван Лукьянович сперва пытливо, а потом с нежностью посмотрел на Левашова:

— Я тебя до шоссе на таратайке подвезу. Правда, машины теперь редко ходят. Но тебя шоферы примут.

Утром Левашов распрощался на шоссе с Иваном Лукьяновичем и остался сидеть у столба 461, поджидая попутную машину.

«Да ведь это четыреста шестьдесят один километр от Москвы!» — догадался вдруг Левашов, глядя на столб, и тотчас же повернулся лицом на восток, где обрывалась серая линия гравия. Он помнил это шоссе в дни, когда на нем было оживленнее, чем на улице Горького в Москве. Сейчас шоссе было пустынно, и он собрался идти пешком. Но тут же его догнала полуторка, и шофер, увидев, что пешеход из своих, из фронтовиков, не обидел его отказом и остановил машину...

Левашов вернулся в Нитяжи на третий день к вечеру. Он нес под мышкой небольшой ящик.

С ночи зарядил дождь. Утром Левашов несколько раз выходил на крыльцо и хмуро поглядывал на небо, плотно затянутое тучами.

Тучи толпились в несколько ярусов. В разрывах черных туч виднелись грязно-серые, цвета разбавленной туши, за ними чуть посветлее — и ни единого голубого окна!

Здесь, в Нитяжах, раскаты грозы, казалось, принесли с собой отзвуки былой канонады.

Дожди не унимались несколько дней, и все эти дни Левашов занимался, с трудом усевшись на парте, уперев колени в откидную доску; он сам себе казался страш-

ным верзилой. Он часто отрывался от «Сопротивления материалов», чтобы повозиться у привезенного ящичка.

Дважды в день Левашов, натянув на себя кожанку, шлепал по лужам, по липкой грязи к Днепру. Он шел, с усилием вытаскивая ноги из глины.

За шиворот затекала вода, кепка насквозь промокла, а он прогуливался по стёжке и посматривал на мокрую траву за колючей проволокой, будто примеряясь к чему-то. Потом так же неторопливо шел обратно в школу.

Страчун, несмотря на дождь, сидел на крыше и обтесывал стропильную ногу. И Левашов подумал: «Велико же нетерпение бездомного человека, горяча его мечта о крыше, если он работает в такую непогоду!»

К утру дождь унялся, но и на следующий день Левашов продолжал зубрить учебник по сопротивлению материалов, втиснувшись в парту так, что колени у него были выше подбородка.

К полудню лужи обмелели, к вечеру высохли, но Левашов по-прежнему сидел в классе. Иван Лукьянович, который приковылял вечером, чтобы послушать последние известия, решил уже, что Левашов бросил думать о луге, и потому ни о чем не расспрашивал. Левашов производил впечатление человека нерешительного, который не смог накопить достаточно смелости для этого отчаянного предприятия и не собрался с духом, чтобы от него окончательно отказаться.

5

На самом же деле Левашов не торопился, так как боялся, что в сырую погоду элемент у миноискателя иссякнет быстрее.

Он очень боялся за эти старые элементы, потому что работа предстояла огромная. Шутка сказать — лужок! Метров шестьсот, не меньше, если считать по берегу, с километр в обход, если шагать вдоль ржавой колючей проволоки.

Левашов разрезал на кусочки свою простыню, а Санька принялся прикреплять полотняные треугольнички к

прутьям, расщепленным на конце. Павел Ильич тем временем наращивал из кусков проволоки трос.

Левашов долго и сосредоточенно курил, прохаживаясь по стёжке, потом заложил за пояс серп, засунул за одно голенище саперную лопатку, за другое — прутья, надел наушники, взял в руки шест миноискателя и перешагнул через колючую изгородь.

— А мы пойдем по вашим следам и понесем все, что нужно,— предложил Павел Ильич.

— Ни шагу! — погрозил Левашов.— Пока вам на лугу делать нечего.

«Как легко отвыкаем мы от опасности и как трудно сживаемся с ней!» — подумал Левашов, перешагнув через колючую проволоку.

Левашов шагал, держа в руках удилище Павла Ильича. Он шарил миноискателем перед собой, обруч ударял по стеблям трав и по цветам, сбивая созревшие семена.

Сначала в наушниках было тихо, но потом возник прерывистый писк, почти такой же, как в телефонной трубке, когда номер занят.

Мальчики увидели, что Левашов остановился, отложил удилище, достал серп, нагнулся, отбросил пучки сре-

занной травы, достал из-за голенища прут с белым флажком, воткнул его в дерн и двинулся дальше.

Вскоре с десяток флажков белел позади Левашова.

«Странно, что одни противотанковые мины! — удивлялся Левашов.— На чем же подорвался заяц?»

Противотанковая мина может оставить в живых даже наступившего на нее человека, такая мина требует давления килограммов в сто — сто пятьдесят.

Левашов знал, что немцы имели обыкновение ставить противотанковые мины вперемежку с противопехотными. Неужто на этот раз они себе изменили?

Вновь слышится писк в наушниках. Левашов становится еще осторожнее, срезает пучок травы, другой. Капли пота текут по его лбу. Так и есть — немецкая противопехотная мина «эс» с тремя ядовитыми усиками. Один, второй, третий. Они только ждут прикосновения к себе. Им нет дела, что война давно кончилась, что фашистов давно прогнали со Смоленской земли и со всех других русских земель. Все эти три года усики мины терпеливо и хищно подстерегали свою жертву.

Секунды три-четыре такая мина шипит, затем взрывается капсюль-детонатор, мина выпрыгивает из земли и засевает все вокруг шрапнелью. Свинцовых шариков не то двести, не то триста, и каждый из этих шариков может намертво ударить в голову, в грудь, в живот.

Прут с белой тряпочкой остался сторожить мину, а Левашов двинулся вперед. Луг уже перешел в займище, появились сочные пятна осоки и обломки сухого камыша под ногами, отметившие весной границу половодья.

Еще несколько раз возвращался Левашов за флажками или менял элемент.

Но пришло наконец время, когда Левашов закинул миноискатель за плечо беззаботно, как удочку или сачок для ловли бабочек. Он исшагал луг за три дня вдоль и поперек, так что не осталось клочка земли, над которым он не пронес обруча с чуткой коробочкой.

Мальчики приносили ему обед от Никитичны. Котелок с супом нес Павел Ильич. Он не доверял Саньке, который мог побежать и расплескать весь навар.

Левашов ощущал вечерами такую усталость, будто сделал переход в полсотни километров без привала...

Перестуком топоров и натужным пением пил встречала деревня Левашова, когда он, бесконечно усталый, медленно брел в школу.

У срубов возились люди. Дети подтаскивали горбыли, подростки — бревна. Плотничали и женщины и старики.

Крыша у Страчуна была готова, он подтесывал балки перекрытия.

— Дела, однако, у тебя идут! — сказал Левашов, войдя в избу и глядя на Страчуна снизу вверх.— Домишко-то растет...

— Лениться некогда. По-саперному, товарищ гвардии старший лейтенант! — весело сказал Страчун и спрыгнул вниз, в надежде закурить.— С топором и спать ложусь.

— И с минами приходилось дело иметь?

— А ты думаешь! Как же! — Страчун уже собрался прихвастнуть, но понял, что попал впросак, и добавил неуверенно: — Хотя как сказать... Смотря в каком смысле...

— Возьмешься мне помочь? Хочу ваш луг разрядить. Миноискатели есть. План минного поля снял.

— Не-е-ет! — раздалось после долгого кряхтения и вздохов.— От этого вы меня, товарищ, увольте. Ищите себе другого помощника. Я ведь на фронте больше при лошадях состоял. Потом — избу нужно до дела довести. Семейство совсем в землянке затопило, заодно с мышами. Так что вы не обижайтесь, товарищ, но я в такую компанию не гожусь.

Страчун в испуге даже отступил к стене.

— Меня-то чего пугаться? — сказал Левашов сухо и протянул портсигар.

Страчун какое-то мгновение оставался в нерешительности, но затем протянул руку и взял папиросу так неловко, будто она была зажжена уже в портсигаре и можно обжечь о нее пальцы.

— Зря ему папироски дарите,— заметил Павел Ильич, когда они отошли от избы.— Он бы у меня зимой снегу не допросился.

Павел Ильич презрительно сплюнул и локтями водворил на место сползающие галифе...

Вечером в школу, по обыкновению, пришел послушать радио Иван Лукьянович. Он редко пропускал послед-

ние известия и все старался поймать международный обзор.

Левашов показал Ивану Лукьяновичу границы минного поля и, между прочим, рассказал о беседе со Страчуном.

Иван Лукьянович вскочил с табуретки и заковылял по классу:

— Насчет обоза — это он правду сказал. Всю жизнь в обозе прожил. И на фронте то же самое. Даже до ефрейтора не дослужился. Без единой медали домой явился. За сына — и за того, наверно, не рассчитался. Есть у нас женщины в колхозе, которые больше пользы принесли. По крайней мере, в лес партизанам продукты носили за тридцать километров. А почему так получается со Страчуном? Самолюбивый человек. Сам себя слишком любит. И всю жизнь мимо рубля за пятаком ходит. Еще уборку не закончили — лошадей стал требовать, лес возить. Конечно, в землянке живет. А чем другие хуже? Разве другие под крышу не торопятся?

Иван Лукьянович долго ходил из угла в угол нахмурившись, сердито стуча палкой. Потом сел и тяжело ударил рукой по парте:

— Ты на посох мой не смотри. Это я только притворяюсь хромым. Я ведь хитрый! Можешь на меня в своем деле облокотиться. Могу еще помощников представить. Правда, штатские будут люди или из женского сословия. Может, нам кузнец Зеркалов поможет, тоже человек фронтовой, партийный...

— Обойдемся вдвоем, Иван Лукьянович. Тем более, связные у меня — орлы. Такие не подведут!

Левашов подмигнул в сторону Саньки и Павла Ильича. Они тесно, касаясь друг друга висками, сидели на одной парте, как на уроке, и, пришептывая, читали книжку.

Санька, услышав похвалу, приподнял было голову, но, очевидно, получил тумака в бок, потому что порывисто и еще ниже, чем прежде, склонился над книжкой. Павел Ильич притворился, что ничего не слышит и всецело занят чтением.

Глаза Левашова весело заблестели, а Иван Лукьянович улыбнулся, показав жемчужные зубы, но тотчас же прикрыл рот рукой и спросил деловито:

— Лошадь нам не потребуется?

— Попозже.

— Та-ак. Утречком заеду. Сейчас по хозяйству отправлюсь.

Уже в дверях Иван Лукьянович попросил:

— Если до последних известий досидишь — расскажешь. Особенно мне этот Миколайчик на нервы действует, будь он неладен совсем вместе со своими родителями...

Сперва по радио передавали лекцию, причем лектор говорил таким скучным голосом, будто и сам себе надоел до смерти. Затем начался радиорепортаж со стадиона «Динамо» о футбольном состязании. Оказывается, в Москве дождь. Левашов отчетливо представил себе лужи на поле стадиона, тяжелый, скользкий мяч, потемневшие майки футболистов. В такие дни тысячи раскрытых зонтов делают трибуны похожими на черные соты. Пестрят голубые, зеленые, оранжевые, красные, синие дождевики, недавно вошедшие в моду. В дождливый августовский вечер темнеет раньше, и к концу игры видны огоньки папирос — они светлячками мигают на трибунах.

Радиоприемник не мог вместить в свое нутро рев стадиона, он был наполнен каким-то хрипом, шипением, треском. Левашов невольно поддался азарту; он напряженно вслушивался в пересыпанную междометиями, рваную речь комментатора.

Мальчики тоже подошли к радиоприемнику, но сидели равнодушные; они никогда не гоняли мяча, не видели, как играют в футбол.

— Театр интереснее слушать,— сказал Санька, подавляя зевок.— Особенно если театр для детей и там...

— Для взрослых театр интереснее,— перебил Павел Ильич.— В детском театре тетеньки пищат, будто мы маленькие и не понимаем!..

Когда мальчики ушли, Левашов прибавил огонь в лампе и взялся за учебник.

Левашов сидел на парте, задумчиво обхватив колени, когда вошла девушка. От неожиданности он со стуком вскочил с парты, совсем как шалун-школьник, застигнутый врасплох учительницей.

— Сидите, сидите, пожалуйста,— остановила она его тоном учительницы, которая оторвала ученика от приготовления уроков.

— Глеб Левашов.

— Очень приятно познакомиться! — Девушка протянула руку и улыбнулась.— Елена Климентьевна. Простите, школьная привычка. Зовите просто Леной. Ну, как устроились? Почему от моего угла отказались?

— Спасибо, и здесь хорошо. А потом,— Левашов показал глазами на учебник, лежащий на парте,— обстановка больше к занятиям располагает.

Оба засмеялись, вспомнив, в какой нелепой позе сидел он на парте, как вскочил, приподняв ее с собой, с каким трудом высвободился из парты. Левашов смеялся громко, а Елена Климентьевна беззвучно, про себя.

Ужин свел обоих в комнатке Елены Климентьевны. На щеках ее играл румянец; впрочем, может быть, оттого, что она сидела у самовара.

Светлые волосы, добела, как у Саньки, выгоревшие на солнце, были схвачены в узел на затылке, загорелая шея открыта. Чуть выгоревшие брови выделялись на смуглом глянцевитом лбу, не знающем веснушек и морщинок. Нос слегка вздернут; еще чуть-чуть — и ее можно было бы назвать курносой. Глаза то светлели — и тогда были голубые, как у Саньки, то темнели — и становились синевато-серыми.

Переговорили уже о цветной кинематографии, о приготовлении ухи, о пенициллине, о сопротивлении материалов, о светящихся часах, о хоре Пятницкого, еще о чем-то и, наконец, о разведении помидоров на Смоленщине.

— Пусть хоть по самой земле расстелются, а все-таки будут у нас помидоры! Правда, в этом году рассада померзла. Что ж, подождем еще годик. Люди на своих ошибках учатся.

— Не всегда. Например, наш брат, сапер, на своих ошибках никогда не учится. Опаздывает.

Левашов взглянул на часы, резко встал из-за стола, поблагодарил и торопливо стал прощаться.

Елена Климентьевна удивленно посмотрела на него и заметила, что он чем-то встревожен.

— Доброй ночи,— сказал Левашов уже в дверях.

— И вам также.

— А мне бы вы лучше доброго дня пожелали.

И он осторожно закрыл за собой дверь, притворившись, что не заметил вызванного им недоумения...

Левашов проснулся чуть свет от неясного беспокойства. Вначале он не мог сообразить, откуда взялось это противное ощущение тревоги, но тут же вспомнил, что пришло время отправляться на луг.

«А почему надо идти сейчас? Почему бы не выспаться хорошенько и не отправиться попозже? И почему это обязательно нужно сделать сегодня, а не завтра, послезавтра? В конце концов, это мое дело. Хочу — пойду, не хочу — не пойду. Я никому ничего не обещал, ни перед кем не обязан отчитываться...»

Чтобы не поддаться сомнениям, Левашов быстро оделся.

Он подошел к классной доске, взял мелок и написал: «С добрым утром!», затем вышел на цыпочках, напуганный скрипом половиц и двери.

«Нашел чего пугаться! — рассердился он на себя.— Будто мне сегодня нечего больше бояться, кроме скрипа половиц».

Он походил на заправского рыболова, только к удилищу у него был пристроен обруч с коробочкой посредине.

Нитяжи спали в предутренней тишине. Но то была не гнетущая тишина фронтовой деревни, забывшей лай собак, пение петухов, скрип колодезного журавля. Коегде над избами и блиндажами уже поднимались дымки, а голосистые петухи кричали свое «ку-ка-реку» так раздраженно, словно люди сами просили разбудить всех пораньше, а теперь почему-то ленятся вставать и заставляют их, петухов, надрываться от крика.

Левашов боялся замедлить шаг, чтобы не было времени передумать.

«Неужели и дед Анисим переживет меня?» — мелькнула мысль, когда он проходил мимо знакомого дома.

Страчуна еще не видно было на крыше избы или где-нибудь около нее.

«И правильно сделал, что отказался,— без малейшего раздражения подумал Левашов.— По крайней мере, будет жив-здоров».

За дальним лесом вставало солнце. Верхушки берез были розовыми, розовые отсветы ложились на светло-зеленое небо.

Чем ближе он был к реке, тем сильнее пахло влажной прохладой, густым настоем трав и запахами сырой земли, остывшей за ночь.

7

У флажка Левашов опускается на колени. Отброшены в сторону пучки срезанной травы. Где же мина? Левашов шарит рукой по дерну, осторожно разгребает влажную землю и натыкается на что-то твердое. Угадывается выпуклая крышка противотанковой мины. Пальцы нащупывают взрыватель, чеки нет.

Левашов вытирает пальцы и ладонь о гимнастерку и достает из кармана гвоздь. Лишь бы не задрожали руки — сапер касается сейчас кончиками пальцев самой своей жизни.

Он пытается вставить гвоздь в отверстие, но оно забито землей. Левашов выдавливает землю гвоздем; наконец-то гвоздь входит в отверстие.

Капли пота стекают по спине между лопатками. Он не слышит ничего, кроме сердца; не слышит кузнечиков, которые еще недавно стрекотали так громко, что заглушали птиц.

Пальцы вновь осторожно касаются взрывателя. Головка его очищена от комочков земли, и теперь видно, что красная точка стоит против красной полоски — мина на боевом взводе. «Однако сурик у немцев хороший. Три года в земле, а держится». Кроме красной черты, ничего не видно, все съела ржавчина, но Левашов знает: над чертой есть надпись «шарф», что значит «опасно». Минер не забудет этого слова до конца дней своих.

Левашов достает гривенник и, пользуясь им, как отверткой, осторожно поворачивает головку предохранителя так, чтобы красная точка стала против белой полоски. «Белила тоже подходящие, вытерпели». Он знает, что над белой чертой написано «зихер», что значит «безопасно».

Левашов облегченно вздыхает.

Осталось только вывинтить взрыватель, но ржавчина попортила резьбу — взрыватель не поддается. Левой рукой Левашов придерживает мину, чтобы не стронуть ее с места,— может быть, ввинчен и боковой взрыватель. Сильно прижимать мину к земле тоже опасно — может оказаться на месте донный взрыватель.

Ладони у него в испарине, он вытирает их о гимнастерку. Осторожно касаясь мины, Левашов в конце концов вывинчивает верхний взрыватель.

Он подкапывает мину сбоку. Так и есть: от нее тянется в землю ржавая проволочка. Он ставит чеку в боковой взрыватель. Теперь нужно перерезать проволочку.

Левашов достает из кармана кусачки и уже подносит их к проволочке, но в последний момент останавливается. Черт ее знает, странная она какая-то, эта проволочка. Не поймешь — натянута она или не натянута. Чаще всего проволочка провисает свободно, и мина взрывается тогда, когда эта заземленная проволочка натягивается. Значит, ее можно перерезать. Но, может быть, проволочка все-таки была натянута и держит на пружине ударник? Перерезать такую проволочку — взрыв.

Долго смотрит он на проволочку и не может понять — натянул ее немецкий минер или нет; резать ее или не резать. Проклятый ржавый змееныш!

Пот больно ест глаза, и чтобы сосредоточиться, Левашов зажмуривается. Сейчас он еще раз попытается представить себе схему мины. Но вместо этой схемы перед глазами упрямо возникает Скорняков.

Он лежит навзничь на опаленной земле, у края свежей воронки. В левой руке, откинутой в сторону, он судорожно сжал пучок травы. И лицо его и волосы запорошены землей. Поодаль на траве лежит пилотка — ее сорвало, отшвырнуло взрывной волной. Непомутневшие

глаза слегка прищурены, будто Скорняков вглядывается в пасмурное небо и хочет определить — пойдет дождь или не пойдет. Лицо невредимо, но вся гимнастерка в кровавых прорехах. Один осколок продырявил левый нагрудный карман. Наверно, этот осколок и оказался смертельным, а всех остальных осколков Скорняков и не почувствовал...

«Все-таки очень глупо приехать на отдых — и ввязаться в такую историю». В сущности, Левашов мог бы и сейчас бросить эту затею. Но как он посмотрит в глаза Ивану Лукьяновичу? Как объяснит все Елене Климентьевне и Павлу Ильичу с Санькой? Что о нем подумает Страчун? В конце концов, пусть думают о нем что угодно. Все равно забудут, едва он уедет. Забудут — и правильно сделают.

А вот Скорнякова не забыли.

Ведь по сути дела Скорняков не должен был погибнуть, потому что на задание следовало идти ему, Левашову. Скорняков сам вызвался заменить Левашова, чтобы дать ему возможность отдохнуть после ночного поиска.

Скорняков вновь возникает перед глазами Левашова. Он лежит, все так же прищурившись, и смотрит на Левашова, будто ожидая его ответа.

Левашов отирает пот со лба, резко встряхивает головой, открывает глаза и всматривается в землю, откуда тянется ржавая проволочка. Продолжая стоять на коленях, Левашов выпрямляет спину и оглядывается вокруг.

Вдали виднеется фигура Ивана Лукьяновича, срезанная плоскостью земли по пояс. Поблескивает лопата, взлетающая выше головы. Левее Ивана Лукьяновича копает землю Зеркалов. Он только приступил к работе и весь на виду.

Левашов еще раз ощупывает проволочку. Теперь он отчетливо, как на чертеже, видит схему мины. Он твердо уверен, что проволочка эта не была натянута, подвоха нет. Левашов сжимает кусачки — проволочка безжизненно повисает.

Левашов снова отирает рукавом пот, заливающий глаза. Гимнастерка мокрая, словно он только что выскочил из бани и оделся не вытираясь.

Боковой взрыватель вывертывается на редкость легко — не верится, что он проторчал в земле три года.

Остается узнать, нет ли взрывателя на дне мины. Левашов подкапывает под миной землю и делает это осторожно, чтобы лопаткой или рукой не задеть за вероятную проволочку. Он пригибается и смотрит в щель между дном мины и землей. Проволочки нет. Значит, мина была с одним сюрпризом.

Снова вздох облегчения. Он уже вымок весь, от затылка до пяток. У него такое ощущение, будто и в карманах у него вода и в сапогах, а если он пойдет, вода будет хлюпать и выплескиваться из голенищ.

Левашов поднимается с колен, берется за ручку мины и оттаскивает ее в сторону с той подчеркнутой небрежностью, которую саперы берегут для обезвреженных мин; эта небрежность тем больше, чем опаснее была мина. Теперь это уже не противотанковая мина, способная перевернуть вверх тормашками танк. Это всего-навсего безобидная железная коробка с толом.

Левашов машет рукой мальчикам и кричит им:

— Шагайте по моим следам! К флажкам не подходить!

Павел Ильич шагает первым, за ним Санька. Они оттаскивают мину к изгороди, гордые оказанным доверием, серьезные, молчаливые.

Левашов бросает окурок, подходит ко второму белому флажку и снова принимается за работу. Несколько мин без сюрпризов, затем попадается противопехотная мина «эс», противотанковая с донным взрывателем и еще несколько мин без сюрпризов.

8

Солнце стояло в зените, когда Левашов вернулся на стёжку. Иван Лукьянович успел отрыть на лугу четыре глубоких окопа. Но не было заметно, что он основательно потрудился. Зеркалов отрыл два окопа и ушел в кузницу.

Левашов решил без нужды не рисковать, если отверстие для чеки забито землей или головка взрывателя не вывинчивается. В этом случае он спрячется в окопе

и с силой дернет оттуда за трос, привязанный к ручке мины.

Первую мину он выдернул бесшумно — она была без сюрпризов; вторую — так же, а в третий раз раздался взрыв, неожиданно сильный.

Земля опала, кислый дым минного пороха разошелся, коричневая пыль осела на влажной траве, но Иван Лукьянович и мальчики, наблюдавшие издали, не увидели Левашова.

— Дяденьку убило! — не выдержал Санька и заревел.

Иван Лукьянович стоял молча, нахмурив брови; могучие руки его бессильно лежали на ручке лопаты.

— Чего ревешь, как девчонка? — прикрикнул Павел Ильич. Губы у него дрожали.— А может...

— Живой! Живой наш сапер! — крикнул Иван Лукьянович и замахал в воздухе лопатой легко, как палкой.— Все в порядке!

Высокий Иван Лукьянович увидел Левашова раньше ребят. Левашов поднялся в окопе и принялся трясти головой, склоняя ее то на одно плечо, то на другое,— так делают, когда в уши налилась вода. Левашов не успел как следует пригнуться в окопе, и его порядком оглушило.

Трос разметало взрывом, и его снова пришлось наращивать.

Взрыв следовал за взрывом, потрясенная земля и все живое испуганно внимали им.

Трава отшатнулась от свежих воронок, припала к земле, легла плашмя, не в силах выпрямить стебли.

Сквозь щели в бревенчатых потолках землянок и блиндажей осыпался песок.

Дед Анисим то и дело крестился, сидя в своей привычной позе — свесив ноги, опершись жилистыми руками о край печи, будто собираясь спрыгнуть.

Дребезжали в избах вновь вставленные стекла.

На тонкой ножке подпрыгивал глобус, стоящий на шкафу в школе.

Взрывной волной выплеснуло дождевые капли, блестевшие в лиловых чашечках цветов на могиле Скорнякова, и стебли их облегченно выпрямились, избавленные от непосильной тяжести.

Коровы на дальней лесной поляне в удивлении переставали жевать и поднимали головы, прислушиваясь. Деревенские псы, поджав хвосты, попрятались кто куда, и только щенки тявкали на улице с безмятежным любопытством: «Откуда такой гром?»

Сторожиха, дремавшая у амбара с зерном, всполошилась и, как она потом рассказывала, «заняла оборону» — взяла в руки древнюю берданку, которую за негодностью бросили еще партизаны.

В тот час для людей, для животных, для растений этих мест прогрохотало и отгремело напоследок оглушительное эхо войны.

— Шабаш! — сказал Иван Лукьянович, опершись на ручку лопаты, как на посох.— Теперь и земля наша отвоевалась. Полная демобилизация!

Встревоженные или подгоняемые любопытством, люди спешили из деревни на луг. Прискакал верховой из Малых Нитяжей. Шумной ватагой бежали наперегонки ребятишки. Какие-то сорванцы собрались перешагнуть через колючую изгородь, но Павел Ильич строго на них прикрикнул. Он держался так, будто он один, и даже лучше Левашова, знал, какая мина взорвется, если ее потянуть тросом, а какая — нет. Обезвреженные мины Левашов уложил на дне углубленной воронки.

— Зарыли глубже бабушкиного клада,— сказал Иван Лукьянович, разравнивая землю.

Левашов громко и долго смеялся. Шутка Ивана Лукьяновича казалась ему сейчас остроумнейшей, и небо — невиданно голубым, и стрекотанье кузнечиков — волшебной музыкой, и запах трав — лучшим ароматом из всех, когда-либо слышанных. Весело и легко перепрыгнул Левашов через ненужную теперь колючую изгородь.

Первой он увидел на стёжке Елену Климентьевну. Она была в голубой косынке, в белом платье, в голубых носках, оттенявших загорелые ноги, и в белых спортивных тапочках.

Елена Климентьевна подбежала и порывисто схватила Левашова за руки:

— Если бы вы только знали, как я...

Он стоял перед ней, пропахший минным порохом и сырой землей, с опущенными руками, устало лежащими

по швам, с задымленным лицом, которое освещали улыбающиеся глаза.

Елена Климентьевна протянула ему смятый платочек, который теребила в руках. Левашов вытер копоть со лба и потемневших висков, стал развертывать платочек, желая вытереть шею, и увидел, что платочек разорван.

Левашов посмотрел с вопрошающим лукавством. Елена Климентьевна покраснела, нагнулась и сорвала травинку.

— Что это за трава? — притворился он заинтересованным.

— Мятлик,— ответила она, покусывая травинку и не поднимая головы.— А вот лисий хвост. Вот мурава. А вот та коричневая метелка — конский щавель.

— Придется здесь и ботаникой заняться...

— Я же вам говорила, что Нитяжи — плохой курорт. А вы еще спорили.

— И сейчас готов спорить. Один воздух чего стоит!

И он глубоко, всей грудью вдохнул воздух, настоянный на травах и цветах.

— А утром ушли не попрощавшись! — Елена Климентьевна погрозила пальцем.

— Я больше не буду,— сказал он тоном провинившегося ученика.

— Мне пожелали доброго утра, а сами тайком сюда. Не стыдно? И почему-то спали без простыни. Никитична все рассказала.

— Они простыню свою на флажки разорвали,— не вытерпел Санька, стоявший в стороне.

Павел Ильич дернул его за штанину, и тот замолк.

Левашов стоял, зажав в руке изорванный платочек, и смотрел на луг, весь в свежих воронках.

Вскоре появился и дед Анисим. Перекрестившись, он тоже перелез, цепляясь штанами, через колючую изгородь и пошел по лугу, пугливо обходя свежие воронки.

— Смелей шагай, дедушка, не бойся! — крикнул ему Левашов.

— А вдруг она во второй раз взорвется?

— Это ей не полагается.

— Дело-то давнее! А вдруг она забыла, сколько раз ей полагается взрываться? Понадеешься на нее — и как раз на смерть свою наступишь.

— Неохота умирать-то?

— Неохота, внучек. Если за мной смерть не придет, сам вовек не умру, а тем более сегодня, в праздник.

— Праздник?

— А как же! Третий спас сегодня. Первый спас медовый, второй — яблочный, а сегодня — хлебный. Пришла пора свежего хлебушка попробовать... Но праздник — праздником, а если общество нуждается, могу и поработать.

— Вот и хорошо,— сказал подошедший Иван Лукьянович; он и хмурился и улыбался.— Нам твоя помощь, дед Анисим, даже очень требуется. Назначаю тебя старшим по уборке колючей проволоки. В заместители даю Павла Ильича. Не хочу сюда баб впутывать — дело мужское.

Павел Ильич с видом победителя посмотрел на Саньку, потом скользнул небрежным взглядом по ораве ребятишек, стоявших поодаль, и подтянул локтями штаны.

— Ну как, дед с внуком? Сработаетесь? Подводы скоро придут. Помощников хоть отбавляй! — Иван Лукьянович указал на ребятишек.— Колья выдернуть, проволоку свернуть в мотки и везти к старому амбару, как утиль. Чтобы завтра на этом лугу стадо паслось!

В толпе любопытных Левашов заметил и Страчуна. Он стоял поодаль и не решался подойти поближе.

Когда, возвращаясь с луга, Левашов проходил мимо избы Страчуна, тот стоял в дверях. Он теребил бородку, похожую на мох, и по всему было видно, что специально поджидал Левашова.

Страчун даже снял шапку, но поздороваться первым не решился.

— С гвардейским почтением! — весело сказал Левашов и достал портсигар.

Страчун тяжело вздохнул, но папиросу взял:

— Вы на меня, товарищ гвардии старший лейтенант, не обижайтесь. Неустойка у меня получилась.

Он перешел с Левашовым на «вы», почувствовав, что утратил право на товарищество.

— Ну что же, Петр Антонович! Только зачем себя сапером называть? Теперь человек на виду не меньше, чем в военное время. Ведь что греха таить, бывало на фронте

и так: стала дивизия гвардейской — и все проснулись на другое утро гвардейцами: и герои и трусы...

Страчун молчал, по-прежнему виновато теребя замшелую бородку.

— Ты там хвалился... Сколько благодарностей имеешь от Верховного Главнокомандующего?

— Семь благодарностей, товарищ гвардии старший лейтенант! — отрапортовал Страчун, становясь навытяжку.

— Ну, а дальше? Что же ты, не хочешь восьмую благодарность заработать? Например, за восстановление Смоленщины?

— Был бы сын жив,— вздохнул Страчун,— я бы куда угодно пошел. И смелости бы сразу прибавилось. А так — один я остался работник. Понимаете? Один! Кругом женщины и дети, не с кем за бревно взяться. Вдвоем с Петром Петровичем мы бы избу быстро подняли.

— Был бы твой Петр жив, да мой дружок Алексей, да еще товарищи,— я бы тебя и просить не стал. Хоть на печи сиди. Мы бы сами управились.

У Страчуна был такой грустный вид и он так виновато теребил бородку, отливающую зеленым, что Левашову стало жаль его.

— Когда новоселье справлять будем?

— Думаю, к Натальиному дню управиться. Двадцать шестого августа по старинному исчислению. Как раз средняя дочка — именинница.

— Жаль, не придется окропить твой дом святой водой.

Левашов выразительно подмигнул.

Страчун сразу повеселел. На прощание он с прежней непринужденностью взял папиросу, закурил и принялся вставлять стекло в оконную раму.

9

Сперва собрание предполагали провести в классе, но скоро выяснилось, что класс не вместит всех желающих. И тогда Елена Климентьевна предложила перенести собрание на лужайку за школой. Расселись прямо на траве.

Парторг Зеркалов, пришедший прямо из кузницы, в грязном комбинезоне, с задымленным лицом, предоставил слово Левашову.

Левашов, сам взволнованный воспоминаниями, подробно рассказал о боях за Большие Нитяжи. После того как деревню отвоевали, ей суждено было надолго остаться во фронтовой полосе. Колхозников переселили тогда подальше от огня, в тыл. На холме, за восточной околицей, в тех самых блиндажах, находился командный пункт дивизии. Противник удерживал плацдарм на левом берегу Днепра, так что наш передний край проходил в трех километрах северо-западнее деревни. Дивизия получила приказ сбросить противника с плацдарма на левом берегу, форсировать Днепр и, развивая успех, ворваться на плечах противника в глубину его обороны. При этом следовало иметь в виду, что по берегу у немцев идет ложный передний край, а опорные пункты их долговременной обороны расположены в нескольких километрах западнее.

Несмотря на сильный огонь противника, гвардии старшина Скорняков сумел со своими саперами проделать калитку в минном поле. Скорняков уже собрался отползти назад, когда поблизости ударил снаряд. Беда, возможно, и миновала бы Скорнякова, но осколок снаряда случайно ударил в мину. Скорнякова нашли на опаленной земле уже бездыханным.

В этом месте доклада все, кто сидел, как бы сговорившись, встали; многие обнажили головы.

После доклада стали задавать вопросы:

— Откуда Скорняков родом?

— С Урала.

— Может, у него жена или дети дробненькие остались? — осведомилась моложавая седая женщина в солдатской гимнастерке.— Тогда пусть приезжают в колхоз на поправку. Могут даже не сомневаться.

— Нет, Скорняков не был женат. Он погиб двадцати двух лет от роду. Старушка мать у него осталась. Живет где-то на Урале, в Уфалее — не то в Верхнем, не то в Нижнем.

— И мать примем со всем сердцем. Сами сынов лишились. Поплачем вместе.

Седоволосая женщина держалась как хозяйка, кото-

рая вправе приглашать в колхоз гостей по своему усмотрению.

— Ты как же, по своей воле в Нитяжи приехал? — спросил дед Анисим.— Или, может тебя, внучек, прислал тот генерал с черными усами, который всегда в машине ночевал? Тот генерал обещался после войны прислать саперов, чтобы разоблачить все мины в окружности.

— По своей воле, дедушка. Я того генерала не встречал.

— А правда, что генерал Черняховский был молодой и красивый? — спросила девушка, одна из тех, кто крутили в сенях у деда Анисима ручную мельницу.

Задав вопрос, она застеснялась и закрыла лицо пестрым платком.

— Правда. Между прочим, генерал Черняховский несколько раз приезжал в эту деревню. Рядом с блиндажом, где живет Иван Лукьянович, командир нашей дивизии находился. Вот генерал Черняховский и приезжал к нему перед наступлением.

— Может, у тебя у самого дочка или сынок маленький дома живет в неудобстве? — спросил долговязый дядька, закопченный от кепки до сапог, по всем признакам подручный Зеркалова.— Привози сюда, как на дачу. Харчами не обидим. Присмотрим не хуже, чем за своими.

— Спасибо за приглашение. Но я тоже одинокий.

— А не можете вы, товарищ, посодействовать насчет молотилки с приводом? — спросила девушка, подстриженная по-мальчишески, с партизанской медалью на кофточке.

— Чтобы цепами на будущий год нам не махать! — поддержал ее звонкий девичий голос.

— Этого товарищ не касается. Молотилку с приводом нам, Дуняша, скоро представят. Уже отгрузили,— поспешил на выручку Зеркалов.

— Каких же, случайно, систем мины пришлось вам разоблачать, товарищ гвардии старший лейтенант? С сюрпризом тоже находили?

— А ты бы сходил сам и посмотрел. У самого-то душа струсила!

— Что вымудрил!

— Еще вопросы задает. Тоже, нашелся член английского парламента,— не удержался Иван Лукьянович.

— Своя рубаха слишком близко к телу прилипла, никак не отдерет.

— А еще фронтовиком числится!

И дернула же Страчуна нелегкая задать этот вопрос! Сидел бы себе и помалкивал. Вот ведь суматошный мужик!

Зеркалов унял страсти, и Левашов ответил:

— Всех мин оказалось шестьдесят семь, из них восемнадцать с сюрпризами. Пятьдесят четыре противотанковые, остальные — противопехотные.

После Страчуна вопросы задавать не решались, и собрание закрылось на том, что постановили назвать школу именем Алексея Скорнякова и послать об этом бумагу в райисполком.

— И пусть каждую осень,— предложил дед Анисим,— как только внучата в школу соберутся, придет в класс Иван Лукьянович, Зеркалов Андрюша или другой сто́ящий человек из фронтового сословия,— пусть вместо первого урока расскажет внучатам про Великую Отечественную войну и про Алексея Скорнякова, который покоится в нашей земле. И пусть внучата наши и правнуки стоя прослушают рассказ про нашего героя...

Дед Анисим троекратно, широко перекрестился.

10

Весь следующий день Левашов вместе с Иваном Лукьяновичем объезжал колхозные владения. Они осмотрели вновь отстроенную МТФ, заехали на лесную дачу, где заготовляли строевой лес, побывали на току. Женщины отдыхали, но тут же снова принялись за работу, взяв в руки еще не остывшие цепы.

Наблюдая согласное мельканье цепов, Левашов вспомнил сапера Гордиенко, бойца своего взвода.

Гордиенко был родом с Полтавщины, любил рассказывать о тополях, белых мазанках, вишнях и на Смоленщине чувствовал себя неуютно, сиротливо. Как-то, лежа рядом с Левашовым в воронке, Гордиенко взял щепоть

смоленской земли, растер ее между пальцами и печально сказал:

— Дюже бедная земля, дюже бедная! Но поскольку она — радяньска, надо ее швидче отвоевывать.

Воскресить бы этого Миколу Гордиенко и привести сюда на колхозный ток!

«Конечно,— думал Левашов, шагая вслед за Иваном Лукьяновичем к таратайке,— колхоз не может похвалиться какими-нибудь рекордными урожаями, о которых пишут в центральных газетах. Зе́мли здесь и в самом деле незавидные, тощие, все больше суглинок и супесь. Но говорят, что лен и картошка их любят и рожь тоже мирится. Вот ведь и эта земля щедро отплачивает человеку за его труд!»

Иван Лукьянович поехал прямо по стерне. Он держал путь на дальние поля, которые пустовали с 1941 года.

Лицо земли было обезображено страшными шрамами, отметинами. Траншеи, окопы, воронки, противотанковый ров сделали непригодной эту пашню, и она попала под злое владычество сорняков.

Иван Лукьянович встал на таратайке во весь рост, из-под ладони оглядывая брошенную пашню.

«Еще не раз,— подумал Левашов, сидя в таратайке и покуривая,— лемех плуга наткнется здесь на осколок, не раз жатка заденет о стреляную гильзу».

Как бы угадав его мысль, Иван Лукьянович сказал:

— Сколько эту землю копали и перекапывали саперными лопатками! Сколько она в себя пуль и осколков приняла! Я так думаю, что вряд ли найдется за границей такая земля. Ни в одной стране столько народу от фашистов не пострадало, сколько на Смоленщине совместно с Белоруссией.

Иван Лукьянович замолк, и видно было, что мыслями он далеко от этого поля.

— А вот такой вопрос! — оживился он.— Предположим, фашисты напустили бы тогда туману, высадились десантом на берегах Англии и начали там воевать. Пошли бы английские джентльмены со своими леди в партизаны, как наши люди, или не пошли бы? То-то же!

Он с размаху плюхнулся на сиденье, так что таратайка под ним жалобно заскрипела, и дернул вожжи.

Они вернулись в деревню поздно вечером, и Левашов лег спать, не зажигая лампы.

Когда Левашов утром проснулся, то увидел на классной доске пожелание: «Спокойной ночи», и ему сразу показалось, что он выспался сегодня, как никогда...

Во всех избах и землянках шли после уборки праздничные обеды, и каждый день в школу за Глебом Борисовичем засылали послов. Его зазывали то на помолвку, то на новоселье, то просто так, на пирушку.

«Свадебный генерал в звании старшего лейтенанта запаса»,— трунил Левашов над собой.

В новые избы, остро пахнущие смолой, опилками, замазкой, олифой, люди по привычке входили, как в блиндаж, пригнувшись, но тут же со спокойной уверенностью выпрямлялись.

— Вот вы заметьте...— говорил Зеркалов, сидя за столом в кругу семьи и потчуя гостя.— Солнце идет на ущерб, дело к сентябрю. А для нас, новоселов,— наоборот, будто дни стали длиннее. Встречаем солнышко пораньше и провожаем попозже, чем в землянке.

Зеркалов оказался совсем молодым парнем, белолицым и опрятным. Гимнастерку, по армейской привычке, он носил с белым подворотничком. И только темные веки с въевшейся, как у шахтера, угольной пылью и руки, которые, видимо, нельзя было отмыть добела, выдавали в нем кузнеца.

Но что бы ни говорил Зеркалов, каждый день приносил всё новые приметы осени.

Солнце уже допоздна не высушивало росы. Трава на лугу, усталая трава, не дождавшаяся косарей, начала вянуть. Первая желтизна внезапно появилась на зябких березах-неженках. Только самые ретивые купальщики, и среди них Павел Ильич, продолжали заплывы к омуту. Костяника прогоркла и опала. На могиле Алексея Скорнякова начали осыпаться цветы. В рощах и перелесках запахло грибами и подгнившими листьями.

Елена Климентьевна готовилась к началу занятий, а Левашов, скорчившись на парте, прилежно зубрил все то же «Сопротивление материалов».

Павел Ильич и Санька не слишком надоедали, но все-таки частенько появлялись в скрипучих дверях клас-

са. Санька то звал на рыбную ловлю («Ох и клюет здорово!»), то приглашал купаться («Ох и вертит вода у того вертуна!»), то зазывал в лес по грибы («Ох и грибов на той опушке!»).

— А почему бы нам, в самом деле, не отправиться сегодня по грибы? — предложила Елена Климентьевна.

— Я вам покажу опушку, где одни белые растут. Страсть! — выпалил Санька.

— Без тебя найдут,— сказал Павел Ильич и выразительно посмотрел на Саньку.— Мы бы пошли, Глеб Борисович, да хлопот много на огороде.

Санька посмотрел на приятеля круглыми от удивления глазами, но промолчал...

Елена Климентьевна и Левашов набрели в конце концов на очень грибное место. Подосиновики в красных, ярко-желтых, оранжевых, малиновых, светло-коричневых картузах тут и там виднелись из травы. Мух уже не стало, но мухоморы в своем крикливом ядовитом наряде в крапинку торчали повсеместно.

Грибы Левашов собирать не умел — то срывал поганки, то растаптывал семейства лисичек, считая их несъедобными. Елена Климентьевна потешалась над ним. Косынка упала ей на плечи, волосы слегка растрепались. Она то и дело поправляла прическу.

— А что смешного? Где я мог эти грибы искать? Во дворе на Красной Пресне? В пионерском лагере? Так я там от футбольного поля не отходил. На даче? Там грибы просто боятся расти...

Елена Климентьевна слушала его плохо.

— И зачем я только ездила на спартакиаду? Будто и бегать, кроме меня, никто не умеет! Сколько бы мы с вами за это время погуляли, переговорили, а может быть, помечтали...

— Знаете что? Приезжайте следующим летом в Москву. В вечерней газете сообщили, что у нас в Сокольниках тоже грибы растут.

Елена Климентьевна даже не улыбнулась:

— Приезжайте лучше вы сюда на зимние каникулы. На лыжах походим.

— Согласен! А еще лучше... Знаете что? Приезжайте в Москву зимой. Школьные каникулы все-таки раньше студенческих. Хоть на несколько недель, а раньше.

С матерью вас познакомлю, с сестрой. По театрам походим.

Елена Климентьевна посмотрела Левашову в глаза и сказала:

— Хорошо.

11

Иван Лукьянович вызвался сам отвезти гостя на станцию. Он уже сидел в таратайке, поджидая Левашова, и размышлял: «Удобно ли попросить его прислать карту Балканского полуострова? От денег он, конечно, откажется. А вдруг карта дорого стоит? Все-таки человек на стипендии».

Левашов вышел на школьное крыльцо, забросил чемоданчик в таратайку, с испугом взглянул на солидную корзину с маслом и медом — это на дорогу-то? — и стал прощаться со всеми по очереди. Тут были Никитична, седоволосая женщина, которая так интересовалась семьей Скорнякова, Зеркалов, весь черный, только что из кузницы, Павел Ильич с Санькой, еще несколько ребятишек и Елена Климентьевна.

Санька стоял грустный, а Павел Ильич пытался принять безразличный вид. Он чаще, чем обычно, подтягивал локтями своенравные галифе и поправлял вылинявшую пилотку.

— Значит, тебе, Санька, что прислать?

— Книжку.

— Какую же?

— Хорошо бы, дяденька, про птиц, про зверей, про растения. И чтобы картинок побольше.

— Найдем и с картинками. А тебе, Павел Ильич, игрушку, что ли, прислать? Например, заводной мотоцикл?

Павел Ильич пропустил шутку мимо ушей, считая ее неуместной.

— Мне, Глеб Борисович, про партизан книжку. Картинки — это необязательно. Только чтобы потолще...

— Буду искать потолще.

Последней, с кем распрощался Левашов, была Елена Климентьевна.

Левашов держал в своих ладонях горячую руку Еле-

ны Климентьевны, а она не торопила его ни взглядом, ни жестом.

Он сбежал с крыльца и впрыгнул в таратайку, тяжело скрипнувшую рессорами и плетеным кузовом.

Иван Лукьянович натянул вожжи своей огромной ручищей — казалось, ему ничего не стоит порвать их.

— Там, за околицей, на минутку сойду. Попрощаться с товарищем.

Иван Лукьянович понимающе кивнул, нахмурился и сильно дернул вожжи, так что лошадь с места пошла крупной рысью.

Провожающие стояли на крыльце и махали: кто — рукой, кто — пилоткой, кто — голубой косынкой. И только Санька не вытерпел и, сверкая пятками, более черными, чем земля, бросился вдогонку за таратайкой по ее быстрому пыльному следу.

1947

ВТОРОГОДНИК

Прежде всего я увидел золотую лестницу, приставленную к стене напротив.

Лестница вытягивалась, слегка сужаясь, все выше, а затем в фантастическом крутом изломе потянулась по потолку.

И скоро два сияющих шеста, скрепленные такими же ступеньками, повисли где-то над моей головой.

Не знаю, сколько прошло секунд, минут, часов, прежде чем я догадался, что лестницу образовали лучи солнца. Они проникли сквозь щели ставен и оставили на стене свой ослепительный причудливый отпечаток.

Лучи были подобны золотым копьям, пронзившим насквозь темноту. В каждом луче кишмя кишели просвеченные пылинки.

Надо мной склонилась женщина в белой косынке, низко надвинутой на глаза. Чужим, незнакомым голосом я спросил у нее: «Который час?», хотя уместнее было бы спросить: «Какое сегодня число?» Как выяснилось потом, я пролежал без сознания несколько суток подряд.

Последнее, что я помнил,— сверкающий, режущий глаза снег и колючая проволока перед самым лицом.

Резкие тени ложились на снег, и от этого казалось, что проволока вдвое гуще, чем на самом деле.

У меня возникло ощущение, что я лежу очень неудобно,— это была еще не осознанная боль. Едва я попробовал пошевелиться, как тут же затаив дыхание замер, настигнутый внезапной острой болью.

Может быть, я даже собирался встать и пойти, потому что спросил у сестры: «Какой это этаж?», хотя опять-таки уместнее было бы спросить: «Какой это город?»

Выяснилось, что госпиталь находится в моем родном городе, где я жил, учился, и от одного этого вся палата — окна, стены, двери, застекленные наполовину, так что видно было, кто в них заглядывает,— все показалось мне давным-давно виденным, знакомым чуть ли не с детства.

Но особенно знакомыми были ребристые ставни с поперечными щелями.

Во время бомбежек санитары всех нас укладывали на носилки и торопливо несли вниз, в подвал. И, странное дело, в то время, когда меня несли по длинному коридору, а потом по лестнице, я мог поклясться, что уже бывал здесь, что все это хорошо мне знакомо.

Я поделился своими ощущениями с соседом по палате, чернобородым великаном, которому на койке было тесно, как на боковой полке жесткого вагона в поезде.

— Ничего удивительного,— сказал сосед. Он лежал пластом и говорил не шевелясь, не поворачивая головы.— Такое и со мной бывало. Мне и сейчас чудится, что лежу в той самой палате, где лежал в августе. Хотя тот госпиталь был в Калуге, а там теперь немцы...

На операцию, а затем на перевязки нас возили на

высоких белых тележках. Однажды перевязочная была переполнена, и меня оставили в коридоре, у окна. На дворе стояла поздняя осень, и мне с тележки хорошо видны были иззябшие клены, наполовину растерявшие оранжево-красную листву. И снова клены эти и высокий кирпичный забор с башенками показались мне знакомыми.

— На какой улице находится госпиталь? — спросил я после перевязки у сестры Танечки.

За много недель я ни разу не видел Танечку без глухого халата, без косынки, низко надвинутой на глаза, так что даже не знал, какие у нее волосы, какой лоб.

— Я ведь нездешняя, точно не знаю. Но кажется, на углу Пролетарской и Московской.

От неожиданности я резко приподнялся на локтях, но боль в ноге быстро меня усмирила.

— Что с тобой, сынок?

Танечка всех, даже моего соседа, называла сынками.

— Так, ничего особенного... В своей школе лежу. Учился в этом самом классе. Только сидел в другом углу, у окна.

Теперь я уже точно знал, куда выходят наши окна и что я увидел бы, подойдя к ним; знал, что перевязочная находится в учительской.

Танечка не удивилась — может быть, не нашла в моих словах ничего особенного; может быть, просто устала после дежурства и ей было не до того.

Я попросил Танечку узнать, не работает ли в госпитале кто-нибудь из школьных служащих. Хоть бы одна знакомая душа объявилась! В родном городе одиночество чувствовалось острее, чем где-нибудь в другом месте.

Танечка не забыла о моей просьбе, и еще до вечернего обхода меня проведал школьный сторож Петрович, который теперь работал истопником.

Он почти не изменился, сварливый и добрый Петрович.

Те же усы с проседью, тот же бурый ежик, тот же хриплый громоподобный голос. Выправка старого солдата угадывалась и под халатом.

Петровича боялись только первоклассники — и то лишь в начале учебного года, пока они не убеждались, что за этим страшным рычаньем, заставлявшим дрожать стекла, не следует ровным счетом ничего плохого.

Я смотрел на Петровича, прямо сидящего на табурете у моей койки, и думал:

«Сколько раз он открывал тяжелую парадную дверь перед завтрашними школьниками! Они еще не доставали головой до ручки двери и приходили с папой или мамой. Сколько раз он широко открывал перед выпускниками дверь в новую жизнь!» Кое-кто из выпускников забывал на радостях попрощаться со стариком, но таких было мало.

Петрович вглядывался в меня пристально и долго. Сперва он не узнал меня совсем, затем ему стало неловко, и он притворился, что вспомнил, а к концу свидания вспомнил и на самом деле.

— А помнишь, Петрович, как ты меня в учительскую водил? Когда мы в футбол играли и разбили стекло. А в другой раз отобрал мяч. Правда, на следующей перемене отдал обратно...

— Стекло есть государственное имущество. Стекло денег стоит,— сказал Петрович и погрозил мне узловатым обкуренным пальцем.

Он говорил таким тоном, будто только сегодня на большой перемене я разбил мячом это самое стекло.

Некстати напомнил я Петровичу о стеклах, он сразу помрачнел:

— Сколько теперь этого стекла неприятель погубил! Еще хорошо, что вторые рамы были в подвале спрятаны. А то бы вы тут замерзли. От температуры все выздоровление зависит. Котельная — самое важное место. Истопник, он врачу — первый помощник.

Вот точно так же Петрович важничал в дни экзаменов.

Он ходил с загадочным видом, будто наперед знал, какая будет тема русской письменной и какие каверзные уравнения припас нам математик Корней Кондратьевич.

— А из учителей никто в городе не остался?

— Юлия Иннокентьевна живет. Только она хворает.

Ее в бомбоубежище недавно чуть насмерть не засыпало. Семенов Тимофей Семенович остался, физик. Он, сказывали, в какой-то лаборатории работает. Раньше на той фабрике гребешки дамские делали, игрушки, елочные украшения, а теперь насчет гранат стараются. Так сказать, тыл на помощь фронту. А во дворе, в учительском флигеле, Корней Кондратьевич проживает. Он теперь тоже к госпиталю относится. Сидит внизу наподобие регистратора, легких раненых принимает.

Математик Корней Кондратьевич, по прозвищу «Корень квадратный», был, пожалуй, самым строгим учителем.

Я не мог его упрекнуть в несправедливости, но отношения у нас были прохладные, потому что с математикой я всегда был не в ладах. При окончании школы «Корень квадратный» едва-едва наскреб мне тройку.

Эта проклятая тройка испортила весь мой аттестат, и если бы не война, мне пришлось бы при поступлении в вуз сдавать все экзамены. Но, повторяю, «Корень квадратный» ко мне никогда не придирался, виноват был во всем я сам.

В противоположность Петровичу, Корней Кондратьевич узнал меня, еще стоя за стеклянной дверью, и уве-

ренно направился к моей койке. Седая голова, очки, белый халат делали его похожим на старого врача.

— Что же вы, голубчик,— спросил он, бережно пожав мне руку,— всерьез захромали?

— Это я симулирую, Корней Кондратьевич. Боюсь, как бы вы меня к доске не вызвали. Бином Ньютона я ведь так и не осилил...

Корней Кондратьевич не улыбнулся и озабоченно начал расспрашивать меня о ранении, о фронте.

Я состоял на батарее вычислителем и все время имел дело с цифрами. А «привязать цели» или «подготовить огни» — это значит почти каждый раз решить сложную математическую задачу, причем решить быстро и безошибочно. Попал я в вычислители случайно. Командир батареи капитан Ласточкин узнал, что я только что со школьной скамьи, и сказал, усмехнувшись: «Среднеобразованный? Вот и будете вычислителем. Вы все эти синусы и косинусы назубок должны знать». А язык не повернулся сказать, что с математикой у меня дело швах.

Я поневоле стал вычислителем, но увлекся своим делом. «Вот бы «Корень квадратный» удивился, узнав, что я попал в математики!» — думал я тогда на батарее.

И вот я лежу и рассказываю обо всем этом Корнею Кондратьевичу.

Он стал навещать меня ежедневно после обеда, и я скучал, если он опаздывал или не приходил вовсе в дни, когда госпиталь принимал много раненых.

Я медленно поправлялся, и, может быть, самым верным признаком выздоровления был зверский аппетит, несвоевременный в ту голодную зиму.

Мне предстояло провести в госпитале несколько месяцев.

Корней Кондратьевич взял меня на «книжное довольствие», но однажды, вручая томик Короленко, сказал:

— Это все. С художественной литературой вы покончили. Всю мою полку перечитали. Остались одни учебники.

Прочел я рассказы Короленко, а потом попросил Корнея Кондратьевича принести какой-нибудь задачник.

Я все-таки твердо решил вернуться в строй, найти свою батарею и занять место вычислителя. Корней Кондратьевич недоверчиво покачал головой — он помнил мою вражду с уравнениями и теоремами,— но просьбу исполнил.

Назавтра он принес, к моему удивлению, сборник арифметических задач.

— В таких случаях, голубчик, надо начинать с арифметики.

Не в этом ли старом задачнике Евтушевского «Корень квадратный» выискивал задачи, приводившие нас в трепет на экзаменах?

Я уже полулежал на подушках и мог понемногу заниматься.

Во всяком случае, это было менее утомительно, чем ничегонеделание.

По-прежнему в городе, иногда по нескольку раз в день, объявляли воздушную тревогу, но в палате узнавали об этом, только когда начинали бить зенитки и где-то падали бомбы.

Во время артиллерийского обстрела снаряды свистели над крышей, и все невольно втягивали головы в плечи, а потом где-то поблизости (или так всегда казалось) снаряд разрывался — и школа содрогалась всеми своими стенами, перекрытиями, лестницами, оконными рамами, дверьми.

И врачи и санитары ходили осунувшиеся, похудевшие, все работали и воевали на голодный желудок, а задачник Евтушевского жил своей сказочной и сытой жизнью.

Купцы покупали друг у друга меры зерна, пуды риса и какое-то совершенно невероятное количество голов сахару и цибиков чаю. Купцы вели какие-то сложные операции с черным и синим сукном. Из двух пунктов А и Б, навстречу друг другу, в разное время, как бы нарочно для того, чтобы сбить с толку школьников, выходили путешественники, которые в довершение всех бед еще шли с разной скоростью. В бассейны вели трубы, и если по одним вода туда втекала, то по другим трубам она зачем-то в это самое время вытекала. Таинственные берковцы, унции, золотники, драхмы и скрупулы не давали мне покоя даже ночью, и даже ночью на

память я принимал участие в дележе какого-то наследства.

До сих пор помню эту кляузную историю с наследством.

«Некто,— говорилось в задаче,— завещал двум своим сыновьям и племяннику 53 400 рублей, с тем чтобы часть старшего относилась к части младшего, как $^5/_7 : {}^5/_8$, а часть младшего сына к части племянника, как $^5/_8 : {}^1/_3$. Но племянник умер ранее раздела наследства, и его часть перешла к сыновьям завещателя. Как они должны разделить между собою эту часть, чтобы не нарушить воли завещателя?»

И я так живо представлял себе и умирающего старика и племянника, не дожившего до наследства, с такой отчетливостью запомнились все условия завещания, будто сам я был одним из наследников или вел тяжбу из-за этого наследства.

Потом, когда с арифметикой было покончено, я под присмотром Корнея Кондратьевича взялся за алгебру и геометрию.

Если я что-нибудь плохо усваивал, Корней Кондратьевич оживлялся. Он начинал доказывать теорему или выводить формулу с таким жаром, будто сидел не у больничной койки, а стоял у классной доски.

Только тогда было видно, как он истосковался по урокам, по ученикам. При каждой моей ошибке Корней Кондратьевич, по старой привычке, ужасался и отстранялся от меня руками, будто защищаясь. И я вспомнил, как, стоя у доски, он в таких случаях даже отступал на шаг от ученика.

Но, в общем, Корней Кондратьевич был доволен моими успехами и удивлялся, что раньше я так плохо у него учился.

— Ведь у вас какая беда была? Основы арифметической не было! Поэтому-то я с вами весь год мучился. Или вы со мной мучились — как вам больше нравится. А попадись вы мне в руки хотя бы в седьмом классе! Да я бы из вас, голубчик, Пифагора сделал!..

Весной я уже подходил к окнам на костылях и подолгу смотрел на бледно-зеленые, отощавшие за зиму клены, смотрел пристально, будто хотел подглядеть, как

именно лопаются почки и расправляются новорожденные листики. Кто долгие месяцы лежал в госпитале, не подходя к окну, поймет меня.

Все увереннее ходил я на костылях и уже предпринимал прогулки по коридору и даже спускался по лестнице к Петровичу, который, в связи с окончанием отопительного сезона, вновь занял свое старое место в вестибюле, у вешалки. Только теперь на Петровиче был белый халат.

Никогда не забыть первых шагов, сделанных без костылей!

Я ступал по палате от койки к койке, испуганно хватаясь за все, что попадалось под руку, но все-таки ступал самостоятельно.

Все — и раненые и сестра Танечка — следили за каждым моим шагом.

А сосед мой, чернобородый великан, у которого была ампутирована нога, заплакал. Вчера еще оба мы равно были «костыльниками», а сегодня я, счастливчик, шагаю, а он всю жизнь будет неразлучен с костылями или с протезом.

В середине июня я прощался с госпиталем. В день, когда я, бросив никчемные костыли, уходил с вещевым мешком за плечами, я вторично стал выпускником.

— Как раз год назад вы, голубчик, у меня на выпускном экзамене чуть не провалились. Помните? — спросил на прощание Корней Кондратьевич.

— Я бы на вашем месте и тройки не поставил,— сказал я совершенно серьезно.— Пришлось самому во второгодники записаться.

Мы оба посмеялись и расстались такими друзьями, что когда я через два месяца снова уезжал на фронт, меня, кроме Танечки, провожал еще и Корней Кондратьевич...

И вот уже после войны, совсем недавно, мне вновь довелось побывать в своей школе.

В коридоре и классах пахло масляной краской, но меня все время преследовал запах госпиталя, в котором перемешались запахи эфира, йодоформа, тления и еще чего-то.

Может быть, запах госпиталя давно без остатка вы-

ветрился и мерещился мне потому, что я помнил, как стояли в классах койки, ныне вновь уступившие место партам...

В некоторых советских школах установилась традиция — раз в году школа созывает бывших учеников, знакомит с ними старшеклассников. И вот я получил такое приглашение от своей школы.

Это была встреча школьных поколений. И зеленые студенты и почтенные отцы семейства были учениками одних и тех же учителей, озорничали в одних и тех же углах, делали одни и те же ошибки в диктантах, где каждое слово таило в себе подвох, равно боялись скелета в углу физического кабинета,— когда скелет трогали, он трясся, кивал черепом и стучал костями на проволочках.

Все мы, едва перейдя во второй класс, снисходительно смотрели на первоклассников и называли их «амёбами», еще не зная, что это такое.

Петрович в тот день был особенно важен, в крахмальной манишке, с галстуком, пришпиленным для верности какой-то брошкой. Он держался так, будто был виновником всего торжества и ради него, собственно, и пришли все на эту встречу. Одних он и в самом деле узнавал в лицо, перед другими притворялся, что узнает их. Разве легко узнать учеников и учениц в этих взрослых людях — в кителях, в модных платьях, с орденами, в шляпах, с золотыми зубами, с сединой в волосах!

В ожидании торжественного вечера повзрослевшие, а то и постаревшие одноклассники прогуливались по коридору, как когда-то на перемене.

Юноши почтительно взирали на моложавого члена-корреспондента Академии наук; на Героя Советского Союза с преждевременной сединой; на писателя со значком лауреата Сталинской премии; на чемпиона СССР по боксу с приплюснутым носом на добродушном лице и с забинтованной кистью руки; на секретаря обкома в синей гимнастерке и в сапогах; на хорошенькую женщину с пышными каштановыми волосами, сплетенными вокруг головы венком,— ее лицо часто смотрело с афиш кинотеатров, дети и взрослые узнавали ее на улице.

Гости постарше, те, что сидели на партах пятна-

дцать — двадцать лет назад, шумели даже больше, чем молодежь, может быть потому, что дольше не виделись, труднее узнавали друг друга; у них было больше причин удивляться.

Девушка, которая в школьные годы не имела отношения к искусству, стала известной киноактрисой. А красивая девушка, которая еще в восьмом классе решила стать актрисой и на этом основании подкрашивала брови и ресницы,— сделалась модной портнихой.

И только писатель с золотым значком лауреата не преподнес никакого сюрприза. Еще с седьмого класса восхищенный учитель литературы заставлял его читать вслух свои сочинения.

Принаряженные, празднично взволнованные учителя с гордостью смотрели на своих учеников и смущались, не зная, как же им держаться со столь почтенными людьми...

Нечего и говорить, что самой радостной была для меня встреча с Корнеем Кондратьевичем. Он вновь заставил меня пройтись по коридору, удивляясь, что я нисколько не прихрамываю, а я опять напомнил ему ту задачу из Евтушевского.

— Наследство, помните, делил тогда? До сих пор ответ помню. Старший брат получил двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей, а младший — двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать рублей. Мне это наследство даже по ночам снилось.

— Вот вы смеетесь, голубчик, а у вас в самом деле отличная математическая память...

Когда мне потом предоставили слово, я кратко поведал обо всем, что уже читателям известно из этого рассказа.

— Может быть, для моих одноклассников это новость,— начал я,— но с вами говорит второгодник. Две зимы подряд провел я в этой школе в одном и том же классе. Правда, первую зиму — за партой, а вторую — на госпитальной койке. Но все равно — оба раза, покидая школу, я чувствовал себя ее выпускником...

— А где вы теперь учитесь? — задали мне вопрос, когда я все рассказал и собрался сесть на место.

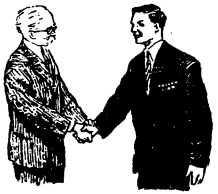
— В университете. На втором курсе физико-математического факультета.

Я не удержался и рассказал, что увлекаюсь астрономией и мечтаю работать в Пулковской обсерватории, когда ее восстановят.

Я хорошо помню эти Пулковские высоты. В ту зиму они были опутаны колючей проволокой, по ним проходил наш передний край.

Резкие тени ложились на сверкающий, режущий глаза снег, и от этого казалось, что проволока вдвое гуще, чем на самом деле.

1947



СОДЕРЖАНИЕ

Ничейная земля 3
Лявониха 18
Где эта улица, где этот дом 27
Зеленые ракеты 38
Увольнительная в город 51
Голубая заплатка 74
Одна минута 84
Наследство 92
Пуд соли 109
Однополчане 120
Гром и Молния 135
Свет на полотне 148
Нет ничего дороже 167
Второгодник 209

Для старшего возраста

Воробьев Евгений Захарович

ГРОМ И МОЛНИЯ

Фронтовые рассказы

Ответственный редактор *З. С. Карманова*
Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*
Технический редактор *Н. Ю. Крапоткина*
Корректоры *Э. Л. Лоф.мфельд* и *Э Н Сизова*

Сдано в набор 11/V 1971 г. Подписано к печати 23/IX 1971 г. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 11,76. (Уч.-изд. л. 11,72). Тираж 75 000 экз. ТП 1971 № 317 А09398. Цена 65 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 2357.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

В 1971 году для детей старшего школьного возраста выходят книги:

АЛЕКСЕЕВ В. **Я ВАМ ВЕРЮ.**

(Записки воспитателя)

Повесть о жизни школьников в трудовом пионерском лагере.

АЛТАЙСКИЙ К. **ЦИОЛКОВСКИЙ РАССКАЗЫВАЕТ.**

Рассказы о жизни выдающегося ученого, основателя космонавтики К. Э. Циолковского.

ВАСИЛЬЕВ И. **ПЕРВАЯ ВЕСНА.**

Повесть о юных механизаторах — вчерашних школьниках, пришедших на колхозные поля.

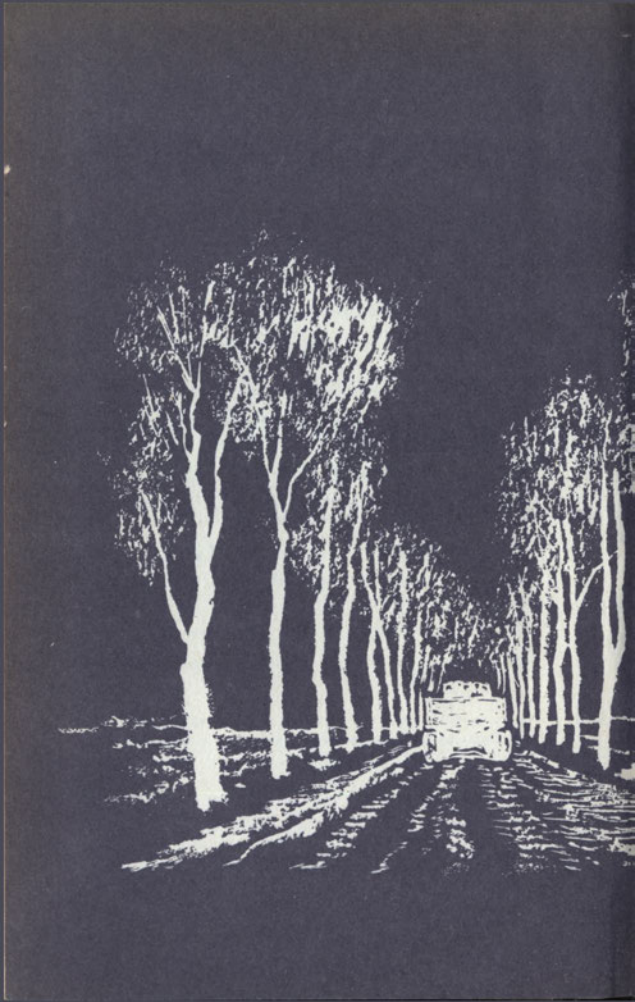
НОРЯКОВ О. **ПАРЕНЬ С КОСМОДРОМА.**

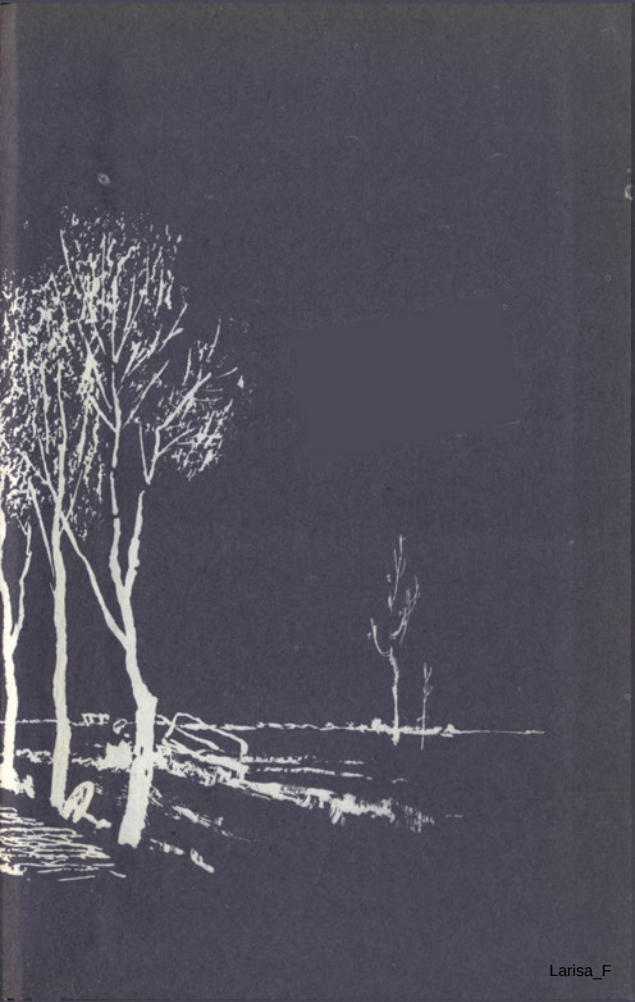
Повесть о жизни школьников в целинном совхозном поселке, о выборе жизненного пути.

ФАДЕЕВ А. **...ПОВЕСТЬ НАШЕЙ ЮНОСТИ.**

Книга составлена из писем и воспоминаний выдающегося советского писателя.

Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.





Larisa_F